

МирГород

mirgorod

международный филологический журнал, посвященный

истории современного литературоведения,
его эпистемологии и интердисциплинарности

2014
n° 1 (3)

Lausanne – Siedlce

МИРГОРОД

2014 n°1 (3)



Section de langues slaves de l'Université de Lausanne
Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach
we współpracy
z Katedrą Teorii Literatury i Kultury Uniwersytetu w Doniecku
oraz Zakładem Kulturologii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

«МИРГОРОД»

<http://www.inibi.uph.edu.pl/projekty/mirgorod>

Редакторы журнала:

Anastasia de La Fortelle (Université de Lausanne)
Roman Mnich (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Секретариат:

Roman Bobryk
Ewa Kozak
mirgorod.inibi@gmail.com

Редколлегия:

Olga Czerwińska (Черновцы, Украина)
Patricia Deotto (Триест, Италия)
Anton Eliáš (Братислава, Словакия)
Michał Girszman (Донецк, Украина)
Rainer Goldt (Майнц, Германия)
Leonid Heller (Париж, Франция)
Aleksander Korablev (Донецк, Украина)
Ludmiła Łucewicz (Варшава, Польша)
Dina Magomedowa (Москва, Россия)
Ivo Pospíšil (Брно, Чешская Республика)
Alexander Wöll (Грайфсвальд, Германия)

Научно-издательский совет:

Tatiana Awtuchowicz
Danuta Szymonik
Elena Sozina
Ludmiła Mnich
Edward Colerick

Материалы журнала рецензируются членами рецензионной коллегии

мирГород

международный филологический журнал, посвященный

истории современного литературоведения,
его эпистемологии и интердисциплинарности

Специальный выпуск
«Законы и закономерности в изучении
языков и текстов»

под редакцией
Анастасии де Ля Фортель
и Екатерины Вельмезовой

2014
n° 1 (3)

Section de langues slaves
de l'Université de Lausanne

Instytut Neofilologii
i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Skład i łamanie
Roman Bobryk

© *Copyright by Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach*

Adres redakcji:

Ewa Kozak „Mirgorod”
Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Żytnia 39, pok. 3. 33
08-110 Siedlce
tel. (+48) (25) 643 18 79
e-mail: mirgorod.inibi@gmail.com

ISSN 1897-1431

Druk i oprawa:
Drukarnia ELPIL

СОДЕРЖАНИЕ

Анастасия де Ля Фортель, Екатерина Вельмезова <i>Предисловие</i>	7
Роже Комте <i>И.А. Бодуэн де Куртенэ и языковые законы</i>	11
Александр Шварц <i>Отто Бехагель – последний из младограмматиков – о звуковых законах, аналогии и аномалии</i>	27
Валерий Косов <i>Эволюция концепции закона в современном российском политическом дискурсе</i>	35
Екатерина Вельмезова <i>Август Шлейхер, Макс Мюллер и...</i> <i>Проспер Мериме о законах языка и языков</i>	45
Андрей Добрицын <i>Реплика о законах и исключениях в языковых дисциплинах</i>	61
Анастасия де Ля Фортель <i>Законы литературной эволюции. К вопросу изучения новейшей русской литературы.</i>	67
Анн Кольдефи-Фокар <i>Закон подполья</i>	75
Эдуард Надточий <i>Миф о Прометее и спор о природе закона в русской культуре первой половины XX века</i>	83
Арно Нико-Клеман <i>Законы литературного быта в освещении «Сентиментальных повестей» М. Зощенко</i>	109
Леонид Геллер <i>Износ и усталость понятий (тезисы)</i>	119

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вашему вниманию номере «Миргорода» мы публикуем работы швейцарских и французских исследователей, принявших участие в международной конференции «Lois et règles dans l'étude des langues et des textes» [«Законы и правила в изучении языков и текстов»], состоявшейся в Лозаннском университете 2 и 3 декабря 2011 года¹. И хотя не все докладчики смогли при-слать свои работы для публикации, по составу представленных в нем статей этот номер кажется нам столь же разнообразным и многосторонним, как и сделанные на конференции сообщения. Помимо этого, в публикуемых здесь материалах многие участники конференции существенно расширили представленные ими доклады.

Авторы номера исследуют понятия *закона*, *закономерности* и *правила* в двух основных направлениях – лингвистическом и литературоведческом.

Об изучаемых лингвистами *законах* в языках писали уже так много, что сам обзор соответствующих работ занял бы пространство, превышающее объем всего нашего сборника (кроме того, к этому вопросу возвращаются и авторы некоторых публикуемых здесь статей – см., например, исследование А. Добрицына [Лозанна]). Поэтому ограничимся здесь лишь краткими замечаниями о понятии *закон* в истории лингвистических идей – сразу отмечая, что, несмотря на частые рассуждения о *законах*, понятие это так и не было никогда определено достаточно четко.

Наибольшее внимание языковеды уделяли законам в последней трети девятнадцатого века, начиная с 1870-ых – 1880-ых годов – то есть, в эпоху господства в лингвистике позитивизма, восходящего к созданным в 1830-ых – 1840-ых годах теориям О. Конта. Хотя первый лингвистический закон (констатирующий регулярные соответствия между индоевропейскими и германскими согласными) был сформулирован Я. Гриммом еще в 1822 году, основные открытия в этой области были сделаны уже младограмматиками. Большинство сформулированных ими законов относилось к истории отдельных индоевропейских языков, причем прежде всего – к истории их фонетики. При этом понимание *закона* младограмматиками постепенно менялось: с течением времени они все больше говорили об *ограниченном характере* действия законов в пространстве и во времени, а также об ограниченности законов встречным действием аналогии и определенным языковым окружением-контекстом. Той же областью языкознания, где понимание *закона* было принципиально иным уже в конце девятнадцатого века, была семантика. Даже сами первые авторы, писавшие о семантических закономерностях, формулировали их не просто для отдельных языков (хотя примеры они брали, конечно, именно из них), но апеллировали к человеческому

¹ См. программу конференции на сайте <http://www2.unil.ch/slav/ling/colloques/11CRECLECO/Lois-regles.pdf>.

языку в целом. Тем самым речь в их исследованиях шла о законах-универсалиях – хотя под законами по-прежнему понимались прежде всего законы в диахронии. Однако как и в случае фонетики, открытые законы развития – будь то языка в целом или отдельных языков – позволяли объяснять в их современном состоянии то, что иначе казалось бы непонятным. Так от диахронии интересовавшиеся законами лингвисты порой незаметно для самих себя переходили к синхронии, ставшей доминантным направлением лингвистических исследований в двадцатом веке.

В двух первых статьях номера речь идет об истории лингвистических идей. Р. Комте (Тулуза) рассматривает отношение к «языковым законам» И. Боудуэна де Куртенэ: его академическая карьера начиналась в эпоху расцвета позитивизма в языкознании, проявлявшегося, в частности, во все более очевидном внимании лингвистов к проблематике законов и закономерностей.

О фактическом же окончании этой эпохи говорится в статье А. Шварца (Лозанна), посвященной понятиям *закона*, *аналогии* и *аномалии* в работах «последнего из младограмматиков» О. Бехагеля (если точнее, речь идет о его книге *Die deutsche Sprache*, когда-то прилежно изучавшейся студентами, разочарованными в структурализме как в [возможной] теории, которая объяснила бы механизмы языковой эволюции).

В статье же исследователя из Гренобля В. Косова слово *закон* понимается в другом, совершенно новом смысле – юридическом и правовом (тема полисемии слова *закон* в разных языках заслуживает, конечно, отдельного изучения): анализируется эволюция концепции закона в российском политическом дискурсе. Как подчеркивает французский лингвист, соответствующие изменения в понимании *закона* отражают двойственный, амбивалентный характер целей и задач современной российской власти: с одной стороны, построить демократическое общество, стабильность которого напрямую будет зависеть от соблюдения законов, а с другой – поддерживать государственный контроль, в частности, посредством «укрепления в рамках концепции закона его авторитарной составляющей».

Статью Е. Вельмезовой (Лозанна) можно условно отнести к категории «промежуточных» между литературоведением и лингвистикой. Речь в ней идет о *законе* как об одном из очень немногих лингвистических понятий, которые попали в художественную литературу в качестве составляющей некоторой языковедческой теории, более-менее эксплицитно отраженной в литературном произведении. Автор анализирует рассуждения о законах А. Шлейхера и М. Мюллера, которые П. Мериме перенес в новеллу «Локис».

В применении к литературному тексту говорить о понятиях *закона* и *правила* можно с разных точек зрения.

В одной из статей номера цитируется ироническое высказывание С. Довлатова о существовании наук точных и наук неточных, среди которых первое место занимают те, что преподаются на филологическом факультете – и, в частности (если достроить цепочку мысли Довлатова), литературоведение. Парадигма, в которую вписывается довлатовское рассуждение, легко «вычисляема».

С одной стороны, она являет собой один из изводов русской литературоцентричности: литературоведение лишено какого бы то ни было практически-прагматического значения (оно являет собой одну из «ненужных вещей»). Одна-

ко именно не вопреки, а благодаря своей «ненужности» и неприспособленности эта область мысли наделяется статусом исключительности.

С другой стороны, обозначенная парадигма апеллирует к антагонизму (воспринимаемому часто в перспективе универсальной истины), который становится в непримиримом противоречии дисциплины, изучающие литературу, и сферу точных и естественных наук.

Не вступая в дискуссии о правомерности и плодотворности подобной оппозиции, заметим только, что интересующее нас понятие *закона* является одним из связующих «мостиков» между точными науками и гуманитарными дисциплинами. Хотя, вне всяких сомнений, смысл этого понятия меняется в зависимости от контекста его употребления и применения, что убедительно показывает в своей статье «Реплика о законах и исключениях в языковых дисциплинах» А. Добрицын. Размышляя о функционировании понятия *закона* в точных науках, автор переходит к рассуждениям о разнице между теоретическими, эмпирическими и статистическими законами в лингвистике и в литературоведении. По мнению исследователя, основное различие между ними выступает здесь как проекция категорий общего и индивидуального, по-разному проявляющихся в лингвистике и в филологии.

В истории же литературоведения понятия *закона* и *правила* регулярно использовались как в разрабатывании различных парадигм литературной эволюции, так и в объяснениях самого процесса литературного письма. В этой связи нельзя не вспомнить формалистов, искателей и первооткрывателей многочисленных законов литературного творчества – таких, например, как *ступенчатое строение* и *задержание*, которые, по мнению В. Шкловского, являются общими законами сюжетосложения вне зависимости от географического и исторического контекстов.

Надо заметить, что многие аспекты формалистской теории не исчерпали своих экспликативных возможностей и до сих пор. Об этом упоминает в своей статье Л. Геллер (Лозанна-Париж), приводя в пример инсталляцию Д. Гордона «Психоз 24 часа» (1993), которая состоит из проекции фильма Хичкока в течение суток и, по мнению автора, воплощает постулат Шкловского о *затруднении формы* как об одном из главных законов художественного творчества, не подчиняющегося закону экономии энергии.

«Жизнеспособность» формалистской теории сегодня – один из главных сюжетов статьи А. де ля Фортель (Лозанна), в которой понятия *закона* и *закономерности* рассматриваются в контексте новейшей русской литературы. Эта последняя служит иллюстративным материалом, необходимым для построения системы описания литературы «как подчиняющегося определенным законам абстрактного целого, где динамика изменчивости и разрыва соседствует с динамикой преемственности, неизменности, возвращения». Используя формалистские модели и метаязык, автор показывает, что на примере сегодняшнего литературного контекста «можно изучать и описывать общие законы функционирования литературной эволюции в России, рассматривая новейшую литературу как некую историческую проверку и подтверждение этих законов».

Функционированию понятия *закон* в различных литературных контекстах и произведениях посвящены статьи парижской исследовательницы А. Кольдефи-Фокар и лозаннских литературоведов Э. Надточия и А. Нико-Клемана.

А. Кольдефи-Фокар анализирует «законы подполья» Ф. Достоевского. Слово *закон* встречается в знаменитом романе очень часто, являясь, как показывает автор статьи, одним из важных «ключей» к раскрытию сущности главного персонажа *Записок из подполья*.

Э. Надточий обращается к понятию *закона* в контексте дискуссии о титанизме первой половины двадцатого века. Как показывает автор, наиболее фундаментальная интерпретация проблемы титанизма была предложена Вяч. Ивановым в трагедии «Прометей». В ивановской теории человеческое героическое действие и трагический человеческий закон представлены как результат агонических отношений между богами и титанами, разрешающихся в мистерии трагической драмы рождением человеческой солидарности.

В несколько ином аспекте понимается слово *закон* в статье А. Нико-Клемана. Речь в этом исследовании заходит о «законах литературного быта» в СССР в конце двадцатых – в тридцатых годах прошлого века, отраженных в *Сентиментальных повестях* М. Зощенко. Законы «литературного быта» рассматриваются как один из важных факторов создания художественного текста в анализируемую в статье эпоху. Речь идет, в частности, о «законах» марксистской критики, о «законах» писательской профессии в Советском Союзе, и наконец, о «законах» рынка.

Завершает литературоведческую часть и одновременно весь номер уже упомянутая выше статья Л. Геллера, в которой теория литературы соседствует с семиотикой, философией и эпистемологией. Показав в начале своего исследования, что терминологическая диада *закон/закономерность* (воспроизводящая немецкую *Gesetz/Gesetzmäßigkeit*) аналогична внутренней структуре сосюрковского знака, автор предлагает перенести эту аналогию на теорию структуры слова у А. Потебни. В статье также проводятся параллели между износом внутренней формы слова и износом/усталостью научных понятий и говорится о возможности/необходимости оживления/воскрешения (по аналогии с обновлением в поэтическом языке изношенных слов) некоторых, казалось бы, устаревших концептов и теорий.

Надеемся, что публикуемый номер «Миргорода» будет интересен для исследователей – специалистов в самых разных областях знания: лингвистики, литературоведения, семиотики, философии, истории науки.

Анастасия де Ля Фортель
Екатерина Вельмезова

РОЖЕ КОМТЕ

(Тулуза)

-

И.А. БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ И ЯЗЫКОВЫЕ ЗАКОНЫ

«Понятие “звуковых законов” должно быть окончательно отброшено языкознанием и заменено его психологическим эквивалентом»².

1. И.А. Бодуэн де Куртенэ в годы учебы

В 1875 году, когда Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) становится главой Кафедры сравнительной грамматики индоевропейских языков и санскрита в Казанском университете, благодаря своим научным занятиям он уже тесно связан с немецкими лингвистами. Бодуэн де Куртенэ родился в 1845 году в той части Польши, которая входила тогда в состав России. В 1862-1866 годах он изучает лингвистику в университете в Варшаве (*Szkoła główna*). Уже тогда Бодуэн устанавливает четкое различие между филологией и лингвистикой³ и с увлечением читает Х. Штейнтала, стремившегося возродить у современных ему лингвистов вкус к теориям В. фон Гумбольдта. Затем Бодуэн едет стажироваться в Прагу и Йену (где слушает лекции А. Шлейхера) и в Берлин (где совершенствует свои познания в санскрите). Шлейхер руководит его первой научной публикацией – исследованием, начатым в 1868 году и озаглавленным «*Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination*»⁴, за которое Бодуэн де Куртенэ получает степень доктора философии.

² Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Językoznawstwo czyli lingwistyka w wieku XIX*, in J.N. Baudouin de Courtenay, *Szkice językoznawcze*. Warszawa 1904, s.1-23; цит. по: И. Бодуэн де Куртенэ, *Языкознание, или лингвистика, XIX века*, in И. Бодуэн де Куртенэ, *Избранные труды по общему языкознанию*, т. 1-2. Москва 1963, т.2, с.17.

³ См. Joanna Radwanska Williams, *Linguistics vs. Philology in a Student Paper by Jan Baudouin de Courtenay*, in A. Ahlqvist (ed.), *Diversions of Galways: Papers on the History of Linguistics*. Amsterdam / Philadelphia 1992, p.319-328.

⁴ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Einige Fälle der Wirkung der Analogie in der polnischen Deklination*, in A. Kuhn, A. Schleicher (Hrsg.), *Beiträge zur vergleichenden Sprach-*

Не видя для себя никакого будущего в Варшавском университете (в ту пору русифицированном), Бодуэн едет в Санкт-Петербург, где в 1868-1870 годах продолжает обучение у И.И. Срезневского. И хотя Бодуэн увлечен общей лингвистикой, Срезневский предписывает ему заниматься скучной для нашего исследователя компиляцией польских слов в древних латинских текстах для магистерской диссертации *О древнепольском языке до XIV века*, которая будет опубликована в Лейпциге⁵. Впоследствии Бодуэн будет упрекать Срезневского в том, что тот ограничивает деятельность филологов и лингвистов созданием словарей и изданием рукописей прошлого, добавляя при этом: «Срезневский же не мог терпеть обобщений, и всякое проявление новой и хотя бы даже старой, но хоть сколько-нибудь смелой, научной мысли было ему противно»⁶. Все это могло лишь отдалить Бодуэна от компаративизма, с его одержимостью «лингвистической палеонтологией» – однако именно Срезневский обратил внимание Бодуэна на арго, на детскую речь⁷ и на словенские говоры Резии⁸.

В 1870 Бодуэн едет в Лейпциг – эту Мекку европейской лингвистики, – чтобы слушать лекции по древнеболгарскому А. Лескина, ранее обучавшегося вместе с ним в Йене; в Лейпциге он встречается таких известных лингвистов как Г. Пауль и К. Бругман. Получив степень доктора философии⁹, Бодуэн имеет возможность стать первым в России приват-доцентом по сравнительной грамматике и санскриту в Санкт-Петербургском университете; однако Срезневский посылает его во Фриули для изучения в 1872-1875 годах словенских говоров долины Резии – что станет темой докторской диссертации Бодуэна *Опыт фонетики резьянских говоров*¹⁰. Параллельно с этим, в 1873 году Бодуэн слушает в Милане лекции Г. Асколи (будущей главы нео-лингвистов) по романской диалектологии¹¹. После этого Бодуэн становится профессором в Казанском уни-

forschung auf dem Gebiete der arischen, celtischen und slavischen Sprachen, VI/1. Berlin 1870, S.19-88. Электронная версия этой работы представлена на сайте:

http://www.archive.org/stream/beitrgezurvergl04schlgoog/beitrgezurvergl04schlgoog_djvu.txt.

⁵ Иван Бодуэн де Куртенэ, *О древнепольском языке до XIV-го века*. Leipzig 1870.

⁶ Иван Бодуэн де Куртенэ, *Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович: Автобиографическая заметка*, in С. Венгеров (ред.), *Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней)*, т.5. Санкт-Петербург 1897, с.18-45; с.49.

⁷ См. Иван Бодуэн де Куртенэ, *Некоторые общие замечания о языковедении и языке*, “Журнал Министерства народного просвещения”, 1871, ч.153, февраль, с.279-316; цит. по: И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.1, с.47-77; с.49 (сноска 2).

⁸ В 1839 году Срезневский опубликовал в *Отечественных записках* статью об особом тайном языке странствующих торговцев (офени) в России; кроме того, он проявлял большой интерес к изучению славянских лингвистических островков, будь то говор кашубов или резьянские диалекты (см. несколько его статей, написанных в сороковые годы девятнадцатого века).

⁹ Иван Бодуэн де Куртенэ (1870), *op.cit.*

¹⁰ Иван Бодуэн де Куртенэ, *Опыт фонетики резьянских говоров*. Варшава / Санкт-Петербург 1875.

¹¹ Бодуэн также имел возможность изучать интерференцию славянских и романских говоров в Резии (см. Иван Бодуэн де Куртенэ, *Отчеты командированного Министерством*

верситете. Как мы можем констатировать, Бодуэн прошел классический, характерный для русских лингвистов того времени курс университетского обучения: доминировало при этом строгое изучение сравнительно-исторического языкознания, и будущие русские профессора по традиции стажировались в немецких университетах. Однако в какой-то момент все стало меняться.

2. Кризис сравнительно-исторического метода в научном контексте эпохи

Действительно, пришло время – и сравнительно-историческая традиция в языкознании начала подвергаться нападкам, вплоть до серьезного «разрыва» с ней, который почувствовался и в России. Историки лингвистики обычно выделяют в девятнадцатом веке два противопоставляемых друг другу периода. Начиная с 1860-ых годов ставится под вопрос сравнительно-историческая модель, унаследованная от романтизма и от парадигм естественно-научной и исторической. Процитируем в этой связи Ж. Мунена: «Можно видеть, как на смену лингвистике, отмеченной успехом естественных наук, и истории приходит лингвистика, на которую влияет психология, а затем и социология – дисциплины, ставшие ведущими [*sciences-vedettes*]»¹². И далее:

«Вероятно, 1876-1916-ые годы были в истории нашей дисциплины одним из поворотных моментов [*turning-points*], как называет их Уитни, таким же важным, возможно, как время “открытия санскрита” между 1786 и 1818 годами. Работы же, к примеру, Уитни, Бодуэна де Куртенэ и Антона Марти являются – несмотря на хронологию – частью панорамы лингвистики скорее начинающегося XX-ого, чем заканчивающегося XIX-ого века»¹³.

Действительно, в это время психология – с ассоцианизмом И.Ф. Гербарта и Лейпцигской школой Штейнталя – затмевает естественные науки. В работах Штейнталя, В. Вундта и Пауля ставится по сути лингвистическая проблема отношений между индивидуумом (психология) и обществом¹⁴ – эта проблема была одной из центральных и для Бодуэна. В то же время в России А. Потебня возвращается к теориям Гумбольдта в работе *Мысль и язык* (1862); таким образом, философская концепция в лингвистике реабилитируется, противостоя позитивистскому культу фактов. В самом деле, кризис ощущался уже в теориях Шлейхера с его пониманием языка как организма (даже если исторические исследования Шлейхера и его работы по реконструкции выполнены еще в рамках компаративистики¹⁵). Следовательно, лингвистику девятнадцатого века действительно можно разделить на два больших периода, один из которых сме-

народного просвещения за границу с учебной целью И.А. Бодуэна де Куртенэ. О занятиях по языковедению в течение 1872 и 1873 г. Казань 1877, с.42).

¹² Georges Mounin, *Histoire de la linguistique des origines au XX^e siècle*. Paris 1967, p.215.

¹³ *Ibid.*, p.221.

¹⁴ См. Gisela Bruche-Schulz, *Russische Sprachwissenschaft. Wissenschaft im historisch-politischen Prozeß des vorsowjetischen und sowjetischen Russland*. Tübingen 1984, s.20-21.

¹⁵ О работах Шлейхера могли говорить как о «конечном этапе» и как о «наиболее законченном выражении» того периода, который начался в лингвистике с Ф. Боппа (Georges Mounin [1967], *op.cit.*, p.192).

няет другой около 1870 года, то есть именно в то время, когда Бодуэн начинает свою профессорскую карьеру – и младограмматическое течение вполне вписывается в эту смену парадигм.

3. Младограмматики и культ звуковых законов

Понятие *звукового закона*, *Lautgesetz*, лежало в основе сравнительно-исторической лингвистики начиная с известного закона первого передвижения согласных в германских языках (*germanische Lautverschiebung*), сформулированного Якобом Гриммом в 1822 году. Младограмматики унаследовали это важнейшее понятие, чтобы пересмотреть существовавшую тогда традицию, противопоставляя себя «старой», прежней лингвистике (в том числе, и «шлейхеризму», который был для них ничем иным как продолжением компаративизма). Для них звуковые законы действовали «слепо», независимо от системы языка в целом, характер же этих законов был для них абсолютным, не приемлющим никаких исключений или лакун (*Ausnahmslosigkeit*¹⁶), здесь они вдохновлялись законами природы (*Naturgesetze*) – в отличие от менее строгих компаративистов, что имело место начиная с выступления К. Бругмана и Г. Остгофа против их учителя Э. Курциуса в 1878 году. Однако если это течение вписывается в компаративистскую линию (с претензиями на доведение компаративистики до совершенства), в то же время оно и отличается от сравнительно-исторического языкознания некоторыми размышлениями его представителей, а также задачами, которые они перед собой ставили: все это отражает контекст соответствующей эпохи.

Так, младограмматики объясняют изменения в языке индивидуальными психологическими факторами, из которых очевидное предпочтение отдается ассоциациям. Кроме того, для того, чтобы проследить за эволюцией языка, изучаются по преимуществу живые языки и идиолекты, а не мертвые – в соответствии с идеями, изложенными в работе по изучению диалектов Й. Винтелера¹⁷. В любом случае, научно-теоретические крайности младограмматиков – как и их непреклонность – заставят многих лингвистов пересмотреть понятие *языковых законов*, что будет способствовать развитию лингвистики и приведет в итоге к рождению структурализма.

4. Бодуэн и языковые законы

4.1. Бодуэн – младограмматик?

Бодуэна часто причисляли к младограмматикам. Так, согласно В.В. Виноградову, «Бодуэн де Куртенэ должен быть признан одним из основоположников младограмматического направления в языкознании, господствовавшего в послед-

¹⁶ Некоторые продолжали придерживаться этой догмы и позже (см. Jean Forquet, *Les lois phonétiques sont sans exception*, in H.G. Lunt [ed.], *Proceedings of the IX International Congress of Linguists*. The Hague 1964, p.638-644).

¹⁷ Jost Winteler, *Die kernerische Mundart des Kantons Glarus in ihren Grundzügen dargestellt*. Leipzig / Heidelberg 1876.

нюю четверть XIX в. и в начале XX в.»¹⁸. Ф. Хойслер даже считает его предшественником этого течения: «Er zählte fortan zu den theoretischen Begründern der neuen Schule»¹⁹. Того же мнения придерживается и Н.Ю. Бокадорова²⁰. То, что называют «законом Бодуэна де Куртенэ», кажется, также соответствует традиции младограмматиков давать языковым законам свои имена (закон Вернера, закон Грассмана, закон Лескина...). О личных контактах Бодуэна с Паулем и Бругманом в Лейпциге в 1874 году мы уже упоминали. Наконец, Бодуэн не забыл о младограмматиках и в списке работ, рекомендованных им для изучения студентам.

Разумеется, некоторые общие моменты с концепциями младограмматиков работы Бодуэна содержат. В своей вступительной лекции в 1870 году в Санкт-Петербурге он соглашается с положением об абсолютном характере языковых законов: по его мнению, «мнимое исключение составляет [...] только подтверждение общего закона»²¹. Кроме того, Бодуэн постоянно говорит о примате психологии, заменившей для младограмматиков прежнюю логику и в каком-то смысле соперничавшую с теориями фонетических законов. Он подчеркивает и роль аналогии в эволюции языка, а также говорит об устранении «аномальных» языковых явлений. Помимо этого, Бодуэн разделяет и необходимость отдавать предпочтение изучению живых языков и диалектов, не смешивая фактов, относящихся к разным языковым эпохам. Язык – это явление индивидуальное (идиолекты), и сравнение их позволяет выделить так называемый «средний язык», определяющий нормы употребления. Микро-изменения этих языков, слагаясь вместе и накапливаясь, ведут к закреплению языковых изменений; эволюция осуществляется в изменениях бессознательных, неощутимых, не затрудняющих коммуникацию между разными поколениями (ср. «малые изменения» у Ч. Дарвина).

Однако в то же время Бодуэна можно отнести и к «самым суровым критикам младограмматизма», наряду с Г. Шухардтом, Ж. Жильероном, Г. Асколи, К. Фосслером и даже Н. Марром²², так как различий в концепциях Бодуэна и младограмматиков было гораздо больше. Начнем с того, что при жизни Бодуэна никто не говорил о языковом законе, носящем его имя: Бодуэн лишь отметил, что в славянских языках за последнюю тысячу лет система гласных обеднялась – в отличие от системы согласных, что сближало славянские языки с семитическими, языками консонантного типа. Что же касается выражения

¹⁸ Виктор Виноградов, *И.А. Бодуэн де Куртенэ*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.1, с.6-20; с.11.

¹⁹ Frank Häusler, *Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Courtenay*. Halle 1968.

²⁰ Natal'ja Bocadorova, *Les savants russes et leurs écoles*, in Sylvain Auroux (éd.), *Histoire des idées linguistiques*, т.3: *L'hégémonie du comparatisme*. Sprimont 2000, p.127-138; p.128-129.

²¹ Иван Бодуэн де Куртенэ (1871), *op.cit.*, с.57.

²² Ekaterina Velmezova, *Les lois du sens: la sémantique marriste*. Berne [et al.] 2007, p.75.

«закон Бодуэна де Куртенэ», то его ввел М.В. Панов, большой почитатель Бодуэна²³ – и поэтому этот закон лучше было бы назвать «законом Панова»²⁴.

Кроме того, Бодуэн получил образование и начал свою карьеру еще до возникновения течения младограмматиков в 1876 году. Бодуэн считал себя первым, кто применил в лингвистике понятие *аналогии* (см. его письмо от 21 сентября 1884 года Фридриху Техмеру²⁵); эта идея якобы возникла у него в 1866 году в Варшаве – в то время лингвисты в основном не разделяли положение о том, что «жизнь языка может быть объяснена только посредством “аналогии”, т. е. посредством бесконечного ряда ассоциаций»²⁶. Известно, что когда в 1868 году Бодуэн применил эту идею к изучению польского склонения²⁷, научный руководитель его диссертации Шлейхер вычеркнул все вступление, в котором теоретически обосновывалась роль аналогии, так как самому ему все это было чуждо (поэтому этот текст Бодуэна был опубликован значительно позже²⁸). Впрочем, даже у младограмматиков аналогия довольствовалась лишь «крошками с пиршественного стола» [*les miettes qui tombaient de la table du festin*]²⁹: к ней прибегали как к последнему способу объяснить исключения из языковых законов. Это хронологическое первенство Бодуэна признает М. Фасмер³⁰, заметивший, что в первой работе Бодуэна впервые подчеркивалось важнейшее влияние аналогии на звуковые изменения – то есть, принимались во внимание языковые изменения, по своему происхождению связанные с психологическими факторами³¹.

Напротив, если кого-то и следует считать младограмматиком, так это ученика и коллегу Бодуэна по Казанскому университету Николая Крушевского (1851-1887), автора *Очерка науки о языке*³², ученика Пауля, Остгофа и Бругмана: после смерти Крушевского в своем некрологе³³ Бодуэн будет критиковать в пер-

²³ Михаил Панов, *История русского литературного произношения XVII-XIX вв.* Москва 1990, с.87.

²⁴ Леонид Касаткин, *Развитие в современном русском языке корреляции согласных по твердости/мягкости*, in *Проблемы фонетики I.* Москва 1993, с.173-180; с.173.

²⁵ См. Семен Венгеров (1897), *op.cit.*, с.28-31.

²⁶ *Ibid.*, с.29. Бодуэн здесь, несомненно, искренен – хотя о роли аналогии в лингвистике упоминал уже в 1868 году австриец Вильгельм Шерер (Wilhelm Scherer, *Zur Geschichte der deutschen Sprache*. Berlin 1868).

²⁷ Иван Бодуэн де Куртенэ (1870), *op.cit.*

²⁸ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Szkice językoznawcze*, t. 1. Warszawa 1904, s.176-248.

²⁹ Jorg Iordan, *Introducere in studiul limbilor romanice. Evoluția și starea actuală en lingvisticii romanice*. Iași 1932, p.25.

³⁰ Макс Фасмер, *И.А. Бодуэн де Куртенэ*, “Живая старина”, 1906, № 21, отд.1, с.135-146.

³¹ Макс Фасмер, цит. по: Федор Березин, *Русское языкознание конца XIX – начала XX в.* Москва 1976, с.172.

³² Николай Крушевский, *Очерк науки о языке*. Казань 1883.

³³ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Mikołaj Kruszewski, jego życie i prace naukowe*, “Prace filologiczne”, 1888-1889, 2, s.137-149; 3, s.126-175.

вую очередь не столько «натурализм»³⁴ Крушевского, сколько его стремление повсюду видеть законы, ту легкость, с которой он о них говорил при всяком удобном случае – подобно младограмматикам: «[...] по Крушевскому, всякое обобщение, всякое общее явление, всякое субъективное впечатление общего характера должно называться “законом”»³⁵. Критика Бодуэном младограмматиков, претендующих на то, чтобы все подвести под определенные законы, выражается тем самым в его критике, обращенной к Крушевскому. Однако близость между учителем и его учеником вполне могла способствовать тому, что Бодуэну приписывали младограмматизм, на самом деле свойственный лингвистике Крушевского.

Не менее критично Бодуэн относился и к «абстрактной общей идее этнического и национального языка», представленной у младограмматиков, к их концепту *среднего языка* – этой фикции, которая «растворяется во множестве индивидуумов, говорящих и слушающих, между которыми внешний мир является посредником»³⁶. Кроме того, полагает Бодуэн, «чистого языка» не существует, но существуют – из-за географических контактов – смешанные языки, и ученый явно отдает предпочтение тому, что в лингвистике гетерогенно, неоднородно (заимствования, многоязычие...). Помимо того, в отличие от Бодуэна, младограмматики на самом деле мало интересовались живыми языками³⁷. Бодуэн отрицает также и их идею, унаследованную от Шлейхера, согласно которой язык является естественным явлением: по его мнению, он не может быть отделен от человеческой психики, от человека и его истории: лингвистика является гуманитарной наукой.

Бодуэн отрицает и исторический (в основном) подход младограмматиков; явно имея в виду их «Библию», *Prinzipien der Sprachgeschichte* Пауля³⁸, он предпочитает говорить о «теоретическом (или общем) языкознании»³⁹. Начиная с 1876 года, Бодуэн выделяет два больших подхода к языку – статический и динамический: по его мнению, существуют «статика звуков» и «динамика звуков,

³⁴ «Звуки для Крушевского являются почти тем же, чем виды животных и растений являются для натуралиста [...]» (*ibid.*, цит. по: Иван Бодуэн де Куртенэ, *Николай Крушевский, его жизнь и научные труды*, in И. Бодуэн де Куртенэ [1963], *op.cit.*, т.1, с.146-202; с.187).

³⁵ *Ibid.*, с.189.

³⁶ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *O prawach głosowych*, “Rocznik slawistyczny”, 1910, 3, s.12-82; s.80.

³⁷ См. Arleta Adamska-Salaciak, *Jan Baudouin de Courtenay's Contribution to General Linguistics*, in E.F.K. Koerner, A. Szwedek (eds.), *Towards a History of Linguistics in Poland. From the Early Beginning to the End of the Twentieth Century*. Amsterdam / Philadelphia 2001, p.175-208; p.188 (первоначально опубликовано в: “Historiographia linguistica”, 1998, vol.25, № 1/2, p.25-60).

³⁸ Hermann Paul, *Prinzipien der Sprachgeschichte*. Halle 1880.

³⁹ Лев Щерба, *Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о языке*, “Русский язык в советской школе”, 1929, № 6, с.63-71; цит. по: Л. Щерба, *Избранные работы по русскому языку*. Москва 1957.

т. е. историческая, этимологическая часть»⁴⁰; помимо этого, Бодуэн критикует идеализацию народных говоров⁴¹, «духа народа» (ср. у Срезневского): «В новейшее время заметно стремление считать живым и достойным внимания науки языком только язык крестьян и т. п., а на язык презируемой “гнилой интеллигенции” не обращать никакого внимания»⁴². Наконец, то, что Бодуэн выступал в защиту искусственных языков (раскритикованных Бругманом и Лескином в 1907 году), связано с его интересом скорее к инновациям, к будущему языков – а не к их прошлому, и здесь он демонстрирует гениальную прозорливость:

«В развитии и истории языка и языков как речи человеческой во всем ее разнообразии и всеобщности заметно все большее удаление друг от друга двух полюсов языкового общения: 1) в самих говорящих индивидах произношение все более выходит наружу, а с другой стороны все более одуховляется внутренняя, знаменательная сторона языка; 2) во взаимном общении жителей земного шара благодаря изобретениям вроде телеграфа, телефона и т.д. пути обмена мыслями все более удлиняются [...]»⁴³.

4.2. Бодуэн – противник законов фонетических и приверженец законов психологических

Если Бодуэна нельзя причислить к младограмматикам, то что же он все-таки думал о звуковых законах, занимавших в их рассуждениях центральное место? Позиция Бодуэна формировалась как реакция на концепции всех школ, всех лингвистических традиций его эпохи. Прежде всего, Бодуэн очень рано исключил из области лингвистики «законы» прескриптивные, все попытки как-то управлять языком при игнорировании его реального функционирования; он ссылается здесь на *Dichtung und Wahrheit* Гете: «Die Grammatik missfiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Gesetz ansah»⁴⁴. В данном контексте Бодуэн отмечал и противоречия Шлейхера, «отрицавшего вполне влияния на язык человеческого сознания, не допускавшего вмешательства свободной воли человека в чисто естественное развитие слова человеческого, но заботившегося о чистоте родного языка»⁴⁵. В действительности, как когда-то Ф.И. Буслаев⁴⁶, Бодуэн использует термин *правило* или *предписание* для обозначения того, что

⁴⁰ Иван Бодуэн де Куртенэ, *Подробная программа лекций И.А. Бодуэна де Куртенэ в 1876-1877 учебном году*, “Известия Казанского университета”, 1877, с.309-324; 1878, №1, с.61-133, цит. по: И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.1, с.88-107; с.88-89.

⁴¹ «Наука уже давно отказалась от “романтических” концепций младограмматиков, видевших в народных говорах [*langues populaires*], в диалектах, самые чистые языки, единственно подверженные регулярным фонетическим законам» (Albert Dauzat, *Tableau de la langue française. Origines, évolution, structure actuelle*. Paris 1939, p.7).

⁴² Иван Бодуэн де Куртенэ (1871), *op.cit.*, с.62, сноска 27; см. также с.58-60, сноска 23.

⁴³ Jan Nieciśław Baudouin de Courtenay, *Język i języki*, in *Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana*, t.XXII. Warszawa 1903, s.266-278; цит. по: И. Бодуэн де Куртенэ, *Язык и языки*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.2, с.67-95; с.95.

⁴⁴ Цит. по: Иван Бодуэн де Куртенэ (1871), *op.cit.*, с.50, сноска 6.

⁴⁵ *Ibid.*, с.51, сноска 8.

⁴⁶ Федор Буслаев, *Историческая грамматика русского языка*. Москва 1959 [1858].

рекомендуется говорить, а *языковым законом* он называет открытые наукой закономерности⁴⁷.

Возражая сторонникам логической или философской грамматики с их концепцией «языковой законности» [*légalité linguistique*], начиная с 1870 года Бодуэн настаивает на том, что, если не существует науки без законов, к законам надо приходить индуктивно, исходя из существующих фактов, а не априори:

«В новейшее время априористическое направление в языковедении создало так называемую *философскую* школу, которая, основываясь на умозрении и ограниченном знании фактов, стала строить грамматические системы, вкладывая реальные явления языка в логические рамки, в логические схемы»⁴⁸.

Напротив, лингвистика – наука индуктивная – должна сначала обобщать факты языка на основе наблюдения, и затем уже «отыскивать силы, действующие в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь»⁴⁹.

Эпоха Бодуэна была очевидно отмечена и натурализмом Шлейхера, увлекавшегося ботаникой и с интересом читавшего Дарвина, для которого язык был не социальным, а природным явлением, законченным организмом, наделенным своей собственной динамикой. Для Шлейхера языки были видами, находящимися в постоянном становлении и конкурирующими друг с другом – как в животном или в растительном мире. Как полагал Шлейхер, наука о языке (которую он называл глоттикой) является естественной наукой, и ее метод в основном тот же, что и метод других наук о природе⁵⁰. Эти теории были хорошо известны в России, где работа Шлейхера *Значение языка для естественной истории человека* была переведена в 1868 году, сразу же после ее опубликования. Бодуэн, учившийся у Шлейхера в Йене в 1867-1868 годах, написал некролог после его смерти в 1869 году⁵¹, а затем, в 1870 году, сделал о нем доклад⁵². Он высоко оценивает строгий метод Шлейхера, позволяющий устанавливать факты сравнительно-исторической грамматики, но в то же время критикует то, что называет «догмой, сектантским кредо»⁵³ – неправдоподобие натуралистической метафоры, к которой Шлейхер возвращался «с упрямством маньяка»⁵⁴. И вот что он пишет: «Для Шлейхера язык существовал в отвлечении от человека, он родился на земле или же спал с облаков как организм, и слова, то есть часть того организма, развивались независимо от духа человеческого [...]»⁵⁵. Конечно, Шлейхер «не при-

⁴⁷ Иван Бодуэн де Куртенэ (1904), *op.cit.*, с.94.

⁴⁸ Иван Бодуэн де Куртенэ (1871), *op.cit.*, с.55.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ August Schleicher, *Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft*. Weimar 1863.

⁵¹ Jan Nieciśław Baudouin de Courtenay, *August Schleicher*, “Tygodnik illustrowany”, 1869, т.4, № 104 (13/25.XII), Warszawa, s.317-319.

⁵² Этот доклад был частично опубликован в: И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.1, с.35-44 (*Август Шлейхер*).

⁵³ Jan Nieciśław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*, с.78.

⁵⁴ Иван Бодуэн де Куртенэ (1888-1889), *op.cit.*; цит. по: И. Бодуэн де Куртенэ, *Николай Крушевский, его жизнь и научные труды*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, с.146-202; с.169.

⁵⁵ Иван Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.1, с.38.

знавал психологического объяснения явлений языка»⁵⁶; к этому добавлялся и гегельянизм, приводивший к констатации существенного различия между натуралистическим монизмом и идеализмом. Что же касается трех стадий эволюции, о которых писал Шлейхер, по мнению Бодуэна, они отражали известную гегелевскую триаду: «Кто не видит в этом вечной гегелевской трихотомии, вечной тезы, антитезы и синтезы, вечного мышления под такт вальса?»⁵⁷.

Не менее строго критикует Бодуэн и теорию волн Иоганнеса Шмидта, ученика Шлейхера: по его мнению, в этой теории язык также никак не зависит от человека, и ее автор не объясняет, как именно языки сближаются и расходятся. Начиная с *Опыта фонетики резьянских говоров*⁵⁸, подобно Шухардту, Бодуэн подчеркивает разнородный, скрещенный характер языков (*смешение, скрещивание*); позднее, в 1901 году, он читает лекцию с вызывающим названием *О смешанном характере всех языков*⁵⁹. Наконец, уже в 1929 году⁶⁰ Бодуэн пишет, что для Шмидта «язык, оторванный от человека, является текучей, жидкой субстанцией, чем-то вроде воды или даже отравляющих газов»⁶¹.

Но резче всего Бодуэн критикует «так называемые звуковые законы»⁶², которым младограмматики отводили в своих теориях центральную роль: «Звуковых законов нет и не может быть»⁶³. Эти законы ставились им под сомнение начиная с некролога Крушевского. Апогея же его критика достигает в статье «Звуковые законы»⁶⁴, опубликованной в то время, когда полемика по этому поводу уже казалась завершенной (начиная с 1886 года). Бодуэн критикует упрощенческий механизм, редуцирующий звуковые законы до простой замены одного звука другим – по его мнению, это вполне соответствовало атомистической концепции младограмматиков, интересовавшихся прежде всего изолированными, отдельными звуками как некоей номенклатурой и совершенно игнорировавших синтаксис и семантику. Напротив, полагает Бодуэн, эти закономерности должны рассматриваться в системе языка и с принятием во внимание условий коммуникации в обществе, где в действие вступает целое множество факторов. Таким образом, даже если возможно предположить, что изменения звуков подчиняются некоторым законам, «мы должны также помнить о том, что абсолютная идентичность условий будет иметь место исключительно редко»⁶⁵. В то же время, эта идентичность обуславливает «необходимость, отсутствие каких бы то ни было исключений, абсолютную зависимость», «закономерность

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, с.41.

⁵⁸ Иван Бодуэн де Куртенэ (1875), *op.cit.*, с.120, 124, 125.

⁵⁹ Иван Бодуэн де Куртенэ, *О смешанном характере всех языков*, «Журнал Министерства народного просвещения», 1901, ч.337, сентябрь, отд.2, с.12-24.

⁶⁰ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Zagadnienia pokrewieństwa językowego*, «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego». Kraków 1930, z.2, s.104-116.

⁶¹ Цит. по: Иван Бодуэн де Куртенэ, *Проблемы языкового родства*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т. 2, с.342-352; с.343.

⁶² Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*, s.57.

⁶³ Иван Бодуэн де Куртенэ (1888-1889), *op.cit.*, с.196.

⁶⁴ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*

⁶⁵ *Ibid.*, s.82.

и необходимость как совершенно идентичных изменений, так и отсутствия таковых»⁶⁶. Иными словами, звуковыми являются лишь физические законы акустики или же физиологические законы образования звуков: по мнению Бодуэна, в акустике речь идет об определениях, по своей природе экспериментальных или дедуктивных, наподобие математических законов, которые управляют ритмом голоса – как то законы амплитуды, законы перехода от одной формы энергии к другой и т.д.⁶⁷. Но чем же тогда следует заменить звуковые законы в лингвистике?

Прежде всего, Бодуэн говорит об актуальности психологии:

«В конце седьмого – в начале восьмого десятилетия XIX в. совершенно сознательно начали использовать психологические данные для объяснения изменений в области языковых форм (Шерер, Лескин, Бреаль, Авэ, Бругман, Остгоф...). Современный языковед, не умеющий сознательно оперировать ассоциациями и связями представлений, отстаёт от уровня своей науки»⁶⁸.

Бодуэн, применивший соответствующий метод уже в 1868 году к изучению польского склонения⁶⁹, впоследствии постоянно будет отдавать приоритет психологии в изучении языковой эволюции – как, например, в 1876 году, когда он объяснил «динамику звуков» следующими факторами:

«1) Фактор чисто физический (физиологический), действие которого определяется звуковыми законами.

2) Фактор психический, состоящий в аналогии звуков»⁷⁰.

Впрочем, пишет Бодуэн, «целое звукового [*phonique*] языка (то есть, языка, который может быть услышан и воспринят ухом) состоит из представлений, из хранящихся в памяти образов (*Erinnerungsbilder*), которые в процессе произнесения становятся стимулами, чтобы адекватным образом привести в движение органы речи»⁷¹. Аналогия играет здесь центральную роль:

«В практике языка, и притом во всех отделах языковой жизни, замечаются ассимиляционные и аккомодационные влияния в различных направлениях: 1) влияние того, что мы только намереваемся сказать, или же того, что только что было сказано (ассоциации по смежности или по временной последовательности); 2) влияние групп представлений, побуждаемых одновременно к обнаружению или ко “всплытию на поверхность сознания” в психически-

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Иван Бодуэн де Куртенэ, *Об отношении русского письма к русскому языку*. Санкт-Петербург 1912, цит. по: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Dzieła wybrane*, t.1-6. Warszawa 1976-1990; t.4, s.414.

⁶⁸ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Językoznawstwo czyli lingwistyka* (1904), *op.cit.*, с.6.

⁶⁹ См. Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1870), *op.cit.* Окончания существительных в косвенных падежах множественного числа выравниваются там по модели склонения существительных женского рода типа *-am*, *-ami*, *-ach*.

⁷⁰ Иван Бодуэн де Куртенэ (1877-1878), *op.cit.*, с.89.

⁷¹ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Próba teorii alternacji fonetycznych. Część 1, ogólna*, “Rozprawy Akademii umiejętności w Krakowie. Wydział filologiczny”, 1894, ser.2, t.5/20, s.219-364; цит. по: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1976-1990), *op.cit.*, t.4, s.165-166.

языковом центре (ассоциации по сходству); влияние слышанного от других лиц или даже того, что, по нашим соображениям, ожидается в речи других лиц»⁷².

В действительности аналогия является выражением универсальной тенденции к языковой экономии:

«Причиной, двигателем всех изменений языка является стремление к удобству, стремление к облегчению в трех областях языковой деятельности: в области произношения (*фонации*), в области слушания и воспринимания (*аудиции*) и, наконец, в области языкового мышления (*церебрации*)»⁷³.

Центральная роль, отводимая Бодуэном аналогии⁷⁴, будет присутствовать в его работах вплоть до его последней, петербургской концепции фонемы, о чем мы уже писали:

«Отныне он [Бодуэн] отказывается интерпретировать фонему семиотически и ориентируется теперь на “психофонетику”, то есть, не на отношение между звуком и смыслом, а на ментальный аспект звуков [...]. Фонема становится для него звуковым [*phonétique*] образом, “психическим эквивалентом звуков языка”»⁷⁵.

Так Бодуэн приходит к тому, чтобы систематически обозначать каждый языковой факт словом *представление*: это слово, наряду с *ассоциацией*, теперь очевидно преобладает в его работах.

Именно ориентация на психологию объясняет тот факт, что со временем Бодуэн начинает говорить скорее о языковых закономерностях – вместо того, чтобы оперировать узким понятием *закона*. Бодуэн отказывается от жесткой и односторонней концепции языка – как и от различия статики и динамики в языке⁷⁶. Этот релятивизм характеризует теперь и понимание Бодуэном *закона* в лингвистике: для Бодуэна практически все законы являются отныне частью логических посылок и допущений, свойственных научному подходу, частью «логических, методологических и гносеологических постулатов как непременных условий любого научного исследования, образующих субъективные законы любого теоретического мышления»⁷⁷. Теперь Бодуэн с недоверием относится даже к психологическим законам – что заметно, например, в написанном им некрологе

⁷² Иван Бодуэн де Куртенэ (1904), *op.cit.*, с.94.

⁷³ Иван Бодуэн де Куртенэ (1897), *op.cit.*, с.33.

⁷⁴ Бодуэн ничего не пишет о риторических фигурах, связанных с ассоциациями (метафора и метонимия), которые впоследствии будут так любимы поэтами-символистами и акмеистами, а также представителями формальной школы литературной теории.

⁷⁵ Roger Comtet, *L'école phonologique de Léningrad et l'école phonologique de Moscou*, “Histoire épistémologie langage”, 1995, t.XVII, fasc.2, p.183-209; p.190.

⁷⁶ Как пишет Бодуэн, в языке не существует ничего неподвижного, тогда как статика языка является лишь частным случаем его динамики (Иван Бодуэн де Куртенэ [1870], *op.cit.* с.34).

⁷⁷ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*, s.75-76.

Крушевскому, где выражение «закон ассоциации» систематически берется в кавычки⁷⁸.

Все более и более предпочитает Бодуэн слово *закономерность* – кальку с немецкого *Gesetzmässigkeit*⁷⁹, которое не всегда предполагает причинность, так как «мы часто видим, что звуковые явления имеют место одновременно с некоторыми условиями, и именно это совпадение создает впечатление “закона” и порождает такую фикцию, как “звуковой закон”»⁸⁰. Речь идет скорее о тенденциях, а не о детально формулируемых законах младограмматиков. Эти рассуждения вторят положению об относительности границ между диалектами, о которой свидетельствуют изоглоссы. Дело в том, что «в языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется»⁸¹; это эмпедокловский мир, находящийся в постоянном становлении – а такая концепция противоречит столь любимому «традиционными» лингвистами положению о строго ограниченных друг от друга целостностях. Романтическая типология языков Шлейхера ставится под сомнение: «Строй языка постепенно изменяется. “Агглютинация” переходит во “флексию”, “флексия” перерождается в “агглютинацию” другого рода, та опять в другую “флексию”, и так далее, без конца»⁸². Поэтому Бодуэн и воспринимает столь критически письменность, сдерживающую развитие языка и вводящую в заблуждение лингвистов, ратующих за те системы письма, которые наиболее точно передают определенные состояния языка, по природе своей являющиеся преходящими⁸³ (ср. его диалектологические транскрипции, а также работу по реформе русской орфографии, которую он вел в Академии наук⁸⁴). Выявление закономерностей, впрочем, затруднено сложностью вступающих в игру факторов:

«Мы помним, что в объекте нашего наблюдения, в жизни языка, присутствуют необычайно сложные условия, что мы должны считаться с целой серией условий, непосредственно действующих на индивидуумов и, в моменты социального общения [*moments de commerce social*], включающими в себя также общение каждого индивидуума, наделенного способностями к жизни в обществе [*doué de facultés sociales*], с самим собой»⁸⁵.

Эта диалектика отношений между обществом и индивидуумом связана у Бодуэна с концептом «коллективной индивидуальности»⁸⁶ – компромиссом между психо-

⁷⁸ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1888-1889), *op.cit.*

⁷⁹ Patrick Sériot, *Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale*. Paris 1870, p.66.

⁸⁰ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*, s.82.

⁸¹ Иван Бодуэн де Куртенэ (1897), *op.cit.* с.34.

⁸² Иван Бодуэн де Куртенэ (1904), *op.cit.*, с.94.

⁸³ «Во избежание соблазна, т. е. для уменьшения возможности сопровождать графемы нежелательными навязчивыми идеями из области произносительно-слуховой, при передаче русских слов транскрипционным “научным” письмом лучше пользоваться не русским, а только каким-нибудь другим, хотя бы, например, латинскими буквами [...]» (Иван Бодуэн де Куртенэ [1912], *op.cit.*, с.94).

⁸⁴ См. также только что упомянутую работу, опубликованную в 1912 году (*ibid.*).

⁸⁵ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1910), *op.cit.*, s.82.

⁸⁶ *Ibid.*, s.80.

логией и социологией, тем более затрудняющим все попытки определить положение бодуэновской концепции между двумя этими полюсами⁸⁷.

Таким образом, со временем Бодуэн начинает ставить под сомнение и наличие языковых границ, и детерминированность – как и сам концепт *языка*, отсылающий у младограмматиков к «законченному определенному целому»⁸⁸; однако в случае русского языка это касается лишь языка литературного, нормированного и подчиненного определенным правилам, тогда как вообще «русская речь отличается нескончаемым разнообразием»⁸⁹. Под влиянием зарождающихся лингвистической географии, лингвистики, изучающей языковые контакты, а также англо-саксонской этнологии Бодуэн предлагает использовать понятие *языковой области* и рекомендует изучать языки независимо от их генетических связей, так как те же самые явления могут объясняться и географической близостью языков, о чем свидетельствуют контакты армянского и кавказских языков, языков балтийских (эстонский и латышский) и балканских⁹⁰.

Здесь очевиден вкус Бодуэна к амбициозному синтезу в собственных теоретических рассуждениях – в отличие от педантизма и концентрированности прежде всего на деталях, свойственных младограмматикам. Бодуэн пытается установить универсальные языковые тенденции и закономерности – как, например, принцип экономии, лежащий в основе феномена аналогии:

«[...] Бодуэн де Куртенэ утверждал, что одной из форм проявления принципа экономии является бессознательная деятельность по систематизации, центростремительная сила, благодаря которой происходит укрепление системы, расширение более сильных парадигм за счет более слабых, уменьшение нерегулярных форм. Она действует в речи, в языке детей, принимающих за модель язык взрослых, в языке коллектива. Несмотря на сохранение диалектов, можно говорить о непрекращающемся сближении языков»⁹¹.

Так, уже в работе 1868 года об аналогии в польском склонении показано, что бессознательный процесс приводит к упрощению и к унификации языковых форм (*Vereinfachung*). Тем самым Бодуэн приходит к универалистскому видению языка, и этот подход ученого чем-то сродни его отвращению к любым проявлениям сектаризма или ограниченного национализма.

⁸⁷ См. Arleta Adamska-Sałaciak (2001), *op.cit.*, p.183.

⁸⁸ Иван Бодуэн де Куртенэ, *Сравнительная грамматика славянских языков в связи с другими индоевропейскими языками*. Санкт-Петербург 1902 (литографированный курс, записанный А. Шиловым), цит. по: Иван Бодуэн де Куртенэ, *Сравнительная грамматика славянских языков*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.2, с.30-32; с.30.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, с.31.

⁹¹ Lucia Wald, *La notion d'économie dans la théorie linguistique de I.A. Baudouin de Courtenay*, in *Actes du XI^e Congrès international des linguistes*. Bucarest 1967, т.2, p.321-325.

Заключение

Стремление Бодуэна к универсализму заставляет вспомнить о Гумбольдте, «бессмертные произведения»⁹² которого он детально изучал и которого много цитировал⁹³. В 1904 году он связывает «философские построения В. Гумбольдта» с принципами психологии Гербарта: они «придали языкознанию свойственный ему характер подлинной науки, в основе которой лежит психологический подход к языку»⁹⁴. Наконец, в 1907 году в *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen* Бодуэн прибегает к гумбольдтовской формулировке «Die Sprache ist weder ein in sich geschlossener Organismus, noch ein unanstatbarer Abgott, sondern ein Werkzeug und eine Tätigkeit»⁹⁵. Мы возвращаемся здесь к проблематике понятий *ergon* и *energeia* – как и тогда, когда Бодуэн представляет языковую деятельность как «работу». Кроме того, в исследовании 1903 года «Язык и языки» Бодуэн также разделяет идею о том, что язык является органом, генерирующим мысль, «die Sprache ist die bildende organ der Gedanken»⁹⁶. Точно так же для Бодуэна каждый язык передает особое видение мира, в соответствии с известной идеей Гумбольдта: «Die Sprache ist eine Weltansicht»⁹⁷. Бодуэн вернется к этой идее и в трех своих выступлениях в Копенгагене в 1923 году⁹⁸. Заметим, что начиная с 1868 года⁹⁹ Бодуэн полагает, что тенденция к аналогии действует у говорящих на бессознательном уровне – а это вводит в игру «внутренний смысл» или *latenter Urheber*, функцию, которую несет в себе форма. Это напоминает о внутренней форме у Гумбольдта. Как пишет Ф.М. Березин, «для двух этих лингвистов форма составляет сущность языка, [...] тогда как тождество и сходство языков объясняются тождеством или сходством их форм»¹⁰⁰.

Итак, если говорить об отношении Бодуэна к языковым законам, ученый вписывается в универсалистскую традицию философской лингвистики, связывая с ней и структурализм, о зарождении которого можно говорить начиная с конца девятнадцатого века. Поэтому имя Бодуэна можно поставить в один ряд с име-

⁹² Иван Бодуэн де Куртенэ (1897), *op.cit.*, с.29.

⁹³ См. Fedor Berezin, *W. von Humboldt en Russie et en URSS*, in D. Droixhe, C. Grell (eds.), *La linguistique entre mythe et histoire. Actes des journées d'étude organisées les 4 et 5 juin 1991 à la Sorbonne en l'honneur de Hans Aarsleff*. Münster 1991, p.263-273.

⁹⁴ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Językoznawstwo czyli lingwistyka w wieku XIX*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.2, с.3-18; с.4.

⁹⁵ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen*, "Annalen der Naturphilosophie", Bd.6, S.385-433; S.394. Ср. рецензию А. Мейе в "Bulletin de la Société linguistique de Paris", 1909-1912, p.xxv.

⁹⁶ Тем не менее, Бодуэн отмечает, что глухонемые мыслят, обходясь при этом без языка.

⁹⁷ Иван Бодуэн де Куртенэ (1904), *op.cit.*, с.71.

⁹⁸ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, *Einfluß der Sprache auf Weltanschauung und Stimmung*, "Prace filologiczne", 1929, т.14, s.184-225. Часть этого текста опубликована в русском переводе в издании: И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.2, с.331-336. Его полную электронную версию на немецком языке можно найти на сайте CRECLECO Лозаннского университета: <http://www2.unil.ch/slav/ling/textes/BdeC29/txt.html>.

⁹⁹ Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1870), *op.cit.*

¹⁰⁰ Fedor Berezin (1991), *op.cit.*, p.267.

нами Ф.Ф. Фортунатова и Ф. де Соссюра: трое этих ученых стояли у истоков современного структурализма¹⁰¹. Размышляя о работах своего ученика В.А. Богородицкого, Бодуэн сам подчеркивает это стремление к универсализму: «Существенным признаком “Казанской лингвистической школы” является стремление к обобщениям, стремление, многими порицаемое и даже осмеиваемое, но тем не менее стремление, без которого немислима ни одна настоящая наука»¹⁰².

Однако этот универсализм сосуществует в данном случае и с некоей «славянской» интеллектуальной традицией, так как в критике Бодуэном звуковых законов младограмматиков можно различить отголоски дискуссий русских славянофилов в 1860-1870-ых годах: они беспрестанно обличали строгий, иссушающий, умертвляющий характер теорий немецких лингвистов, пытавшихся педантично втиснуть описание русского языка в удушающий «рационалистский корсет»¹⁰³.

(Перевела с французского Е. Вельмезова)

Jan Baudouin de Courtenay and linguistic laws

The academic career of the Polish linguist Baudouin de Courtenay took place in pre-revolutionary Russia, where German cultural influences and tradition were particularly strong. This applies to linguistics too, where the role of German Neogrammarians was significant in the 1860-1870s; as we know, these Neogrammarians applied a strict historical phonetic model based on mechanical rules which did not admit any exception; in this way, they were related to the Romantic historico-comparative school, whose results they pretended to lead to a final conclusion. In fact, their model began to be contested in the 1870s by many European linguists including Baudouin. In this period Baudouin started criticizing the neogrammarian model, applying a radically different and new approach to linguistics: the predominance of psychological universal rules, the necessity of synchrony, the idea of areal linguistics, the importance of interlinguistic contacts, the firm belief that every language in the world results from mixing. All these features emphasize the close relation of Baudouin to Humboldt's philosophical linguistic tradition, whose legacy had begun to be exhumed by Steinthal.

¹⁰¹ См. Gisela Bruche-Schulz (1984), *op.cit.*, S.20.

¹⁰² Иван Бодуэн де Куртенэ, *Лингвистические афоризмы. По поводу новейших лингвистических трудов В.А. Богородицкого*, “Журнал Министерства народного просвещения”, 1903, ч.346, апрель, с.279-334; ч.347, май, с.1-37; цит. по: Иван Бодуэн де Куртенэ, *Лингвистические афоризмы. По поводу новейших лингвистических трудов В.А.Богородицкого*, in И. Бодуэн де Куртенэ (1963), *op.cit.*, т.2, с.33-55; с.52.

¹⁰³ См. Boris Gasparov, *La linguistique slavophile*, “Histoire épistémologie langage”, 1995, т.XVII, fasc.2, p.125-145.

АЛЕКСАНДР ШВАРЦ
(Лозанна)

ОТТО БЕХАГЕЛЬ – ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МЛАДОГРАММАТИКОВ – О ЗВУКОВЫХ ЗАКОНАХ, АНАЛОГИИ И АНОМАЛИИ

1. Отто Бехагель и я

Даже если все согласится с утверждением, что любое высказывание автореферентно, я с самого начала хочу извиниться за то, что в этой статье речь отчасти пойдет и обо мне самом – в какой-то степени, возможно, компенсируя тем самым тот факт, что единственный объективный интерес моей работы состоит в представлении для русскоязычных читателей некоторых теоретических размышлений Отто Бехагеля: они кажутся мне важными в связи с дискуссией о законах.

Я начал учиться в Цюрихском университете в 1968 году, выбрав своей специальностью германские языки. И хотя уже довольно скоро страны Восточной Европы стали казаться мне более интересными, чем государства Европы Западной, привлекали меня среди первых прежде всего страны неславянские, а именно Венгрия и ГДР. Там в основном я и собрал свою маленькую библиотеку научно-учебной литературы – в Центре восточно-немецкой культуры в Будапеште и в университетских библиотеках в ГДР. Именно там я в самом начале семидесятых годов нашел четырнадцатое издание книги *Die deutsche Sprache* Отто Бехагеля¹, вышедшее в 1968 году². Для книги, изданной в ГДР, кажется примечательным тот факт, что ее издатель, Фридрих Маурер, восточнее Германии никогда не преподавал – и в то же время, Кристофер Хаттон сообщает нам его номер (5060645) члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP)³.

¹ О Бехагеле см. <http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/ChrBehaghel.pdf>.

² Otto Behagel, *Die deutsche Sprache*. Halle (Saale) 1968.

³ Christopher Hutton, *Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue Fascism, Race, and the Science of Language*. New York 1999, p.336.

Вероятно, я купил эту книгу по двум причинам: ее издатель, ученик Бехагеля Ф. Маурер, в предисловии рекомендует эту работу Бехагеля начинающим студентам, называя ее «одной из самых репрезентативных книг младограмматической германистики»⁴. В то время утверждение Соссюра о том, что все диахроническое в языке является таковым лишь через речь, уронило в глазах молодых студентов – в том числе, и меня самого – авторитет структурализма как (возможной) теории языковой эволюции, и мы нуждались в иных авторитетах. Тогда мой профессор Стефан Зондереггер порекомендовал нам читать работы младограмматиков, чьи грамматики, написанные для разных периодов немецкого языка, уже были нам знакомы.

Первое издание работы *Die deutsche Sprache* вышло в 1886 году. Следовательно, между временем появления этой книги и моим ее прочтением прошло более восьмидесяти лет. Я особенно подчеркиваю этот факт, потому что меня интересует не только история лингвистики, но и необычайно современный характер этого текста Бехагеля.

Однако пришло время сказать несколько слов о самом Бехагеле – прежде чем обратиться непосредственно к его книге. Он родился в 1854 году в Карлсруэ и умер в 1936 году в Мюнхене. Диссертацию он защитил в Гейдельбергском университете: она была посвящена синтаксическому анализу глагольных наклонений в библейском эпосе *Хелианд*, написанном на древнесаксонском (древне-нижненемецком). В том же университете защитил он и диссертацию на тему «О глагольных временах в косвенной речи». В возрасте двадцати восьми лет он становится экстраординарным профессором в Гейдельберге, уже через год – ординарным профессором в Базеле, а через пять лет – в Гиссене. Бехагель занимался лингвистикой и издавал литературные немецкие тексты, созданные в период с девятого по девятнадцатый век.

2. Звуковые законы и аналогия в книге Бехагеля *Die deutsche Sprache*

Книга *Die deutsche Sprache* состоит из двух частей. Первая из них – общего характера («Allgemeiner Teil»), вторая же более специфична («Besonderer Teil»): в ней представлена мини-грамматика (понимаемая в широком смысле первого из искусств классического тривиума) нововерхненемецкого языка. Первая часть, к которой мы и обратимся в этой статье, состоит из трех глав. В первой главе речь идет, в частности, о различиях диахронических, диалектальных [*diatopiques*] и социальных. Во второй главе говорится о происхождении этих различий, а в третьей – о влиянии, в этой связи, других языков. Вторая глава, особенно интересная для нашего исследования, состоит из четырех разделов: А. Общие положения, В. Силы, формирующие жизнь языков [*Sprachleben*], С. Отдельные (единичные) [*einzelne*] изменения и D. Распространение изменений. В «Общих положениях», говоря о силах, формирующих языки, Бехагель опирается не на биологическую модель (как могло бы показаться из-за употребляемой им метафоры), но на модель социальную, где «адаптация к условиям жизни [людей]» играет важнейшую роль. Он иллюстрирует и подтверждает эту точку зрения

⁴ Fridrich Maurer, Vorwort, in O. Behagel (1968), *op.cit.*, S.III-IV; S.III.

десятками примеров. Вот лишь один из них: появление забавных форм типа *kladatschen* вместо *klatschen* ('аплодировать') объясняется, по его мнению, присутствующим человеку стремлением к игре [*Spieltrieb*].

Все приводимые далее цитаты взяты нами из раздела С. Здесь Бехагель различает: 1) изменения формы, 2) изменения смысла и 3) расширение лексики. Изменения формы подразделяются на две группы: а) «Изменения в соответствии со звуковыми законами» и б) «Проявления аналогии»⁵.

Начнем с анализа пункта С. I. а), то есть с «Изменений в соответствии со звуковыми законами». Когда мы говорим, считает Бехагель, мы стараемся воспроизводить в точности те же звуки, которыми пользовались и раньше – для выражения тех же самых представлений [*Anschauungen*], – однако иногда это у нас не получается. С одной стороны, мы не можем быть уверены в том, что услышали всё правильно. С другой стороны, мы подражаем словам других – например, словам наших родителей, – не имея ни малейшего представления о том, с помощью каких именно артикуляционных средств эти звуки производятся и воспроизводятся:

«Точность [*Genauigkeit*] воспроизводства зависит от точности [*Schärfe*] сравнения, которое обучающийся осуществляет между своим собственным акустическим образом и образом другого, то есть, от произведенной ухом сверки двух звуков. Но это инструмент малонадежный: два звука, сильно различающиеся по своей манере произношения, могут казаться тождественными. К этому добавляется еще и то, что к одинаковым результатам могут приводить разные причины: чтобы произвести тождественный акустический образ, органы речи обучающегося могут совершать и движения, отличные от движений обучающего. И эта подмена одних произносительных движений другими, ведущими к тому же результату, довольно часто становится неизбежной, так как органы речи у разных людей никак не могут быть устроены совершенно одинаково. Если же два конечных явления, различающиеся одним из составляющих их факторов, обладают одним и тем же значением [*Wert*], тогда другие составляющие их факторы тоже должны быть разными. Так может произойти изменение в произношении при передаче языка от отца к сыну или от одного поколения к другому»⁶.

Важным мне здесь кажется то, что изменения, которые пока описывает Бехагель, – суть *Abweichungen*, «отклонения», случайности (в том числе, и в аристотелевском смысле).

Иногда, продолжает Бехагель, можно объяснить различия в произношении у детей и у их бабушек и дедушек удобством – как в случае слова *Pferd*, произносимого в некоторых немецких диалектах как *Ferd*. Но иногда это невозможно – как в случае германского *ai*, которое переходит в *ei* в древневерхненемецком, в средневерхненемецком и в бернском.

⁵ Оба термина, *Lautgesetz* (звуковой закон) и *Analogie* (аналогия) были введены В. фон Гумбольдтом в статье *Über den Dualis*, которая была зачитана в 1827 году в Академии наук в Берлине.

⁶ Otto Behagel (1968), *op.cit.*, S.89.

Приведем еще одну цитату из работы Бехагеля:

«Люди привыкли считать, что языковые изменения – как мы об этом уже говорили – подчиняются звуковым законам. На самом же деле причины, создающие препятствия к совершенно идентичному воспроизведению некоторого звука, действуют в каждом случае употребления этого звука, о каком бы слове ни шла речь. Другими словами, звук, находящийся в одних и тех же условиях, выбирает во всех случаях один и тот же путь трансформации, и эти случаи могут быть описаны некоторым правилом, некоторым законом. Пример фонетического закона: долгое “i” из средневерхненемецкого переходит в “ei” в нововверхненемецком: *gîge-Geige, hîrât-Heirat, mîden-meiden, nît-Neid, zît-Zeit* и т.д.»⁷ –

кажется, таким образом, что случайности превращаются в закономерности, едва ли не в законы.

В заключительной части параграфа о звуковых законах Бехагель говорит об относительном характере законов, подчеркивая, что поначалу их действие ограничивается только одним говорящим. Однако круг слушания и говорения замыкается: представитель следующего поколения не будет слышать лишь то, что произносит только один человек, и поэтому установится нечто среднее, что новый говорящий и будет пытаться воспроизвести – и так далее.

Все кажется понятным – и вот начинается второй параграф, посвященный проявлениям аналогии («*Wirkungen der Analogie*»). Бехагель пишет следующее:

«Если бы звуковые законы были единственным способом изменения языка, тогда история этого языка была бы простой и прозрачной. Было бы легко констатировать разные звуковые законы, и благодаря только этому знанию было бы возможно совершенно механически переложить стихи Гете на язык *Песни о Нибелунгах* или же переписать поэзию Отфрида на языке Вульфилы. Однако действительная ситуация несколько не соответствует такому положению вещей»⁸.

Мне представляется, что Бехагель релятивизирует силу законов не без некоторого лукавства: *простой* и *механический* являются скорее «негативными» прилагательными – по крайней мере, они отсылают к обстоятельствам, ничем не примечательным.

Далее Бехагель выделяет несколько типов проявлений аналогии: это сокращения (типа *kilo* вместо *kilogramme* или *UNIL* вместо *Université de Lausanne*); группы или семьи слов: если ребенок или иностранец знают слово *Stein* ‘камень’, они поймут и *steinigen* ‘забрасывать камнями’; тот, кто знает слово *nehmen* ‘брать’, поймет, как считает Бехагель, и *genommen* ‘взятый’.

Однако эти группы могут оказаться и далеко не столь «безопасными», как видно из следующей цитаты:

«Напротив, они [семьи слов] могут также с неизбежностью действовать вопреки чисто звуковым законам, а именно, когда не только тождественные,

⁷ *Ibid.*, S.90.

⁸ *Ibid.*, S.91.

но и похожие акустические образы образуют группы. Несет ли в себе значение “nehm-”, “nimm-”, “nahm-” или “nomm-”? А в речи Лютера: “du kreichst, er kreichet, wir kriechen, sie kriechen” – проявляется ли действительно в “kreuch-” или “kriech-” концептуальный образ? Языковое чутье [*Sprachgefühl*] никак не позволяет ответить на этот вопрос. Память говорит нам только, что в настоящем времени используют “nehm-” или “nimm-”, что причастие – “genommen”, или что раньше говорили “kreuch-” в единственном числе и “kriech-” во множественном. Если же память дает сбой, тогда в языке мы не находим больше никаких причин говорить “er kreichet” в одном случае и “wir kriechen” в другом; язык вполне позволяет однажды сказать “er kriecht” и “wir kreichen”. Глядя со стороны, можно сказать: слово “kreucht” изменило свою форму по модели, или по аналогии, с “kriechen”. Или еще пример: вместо “fährt”, “schlägt”, “trägt” во многих диалектах мы встречаем “fahrt”, “schlagt”, “tragt”; эти примитивные формы с “ä” изменились по примеру “ich fahre, schlage, trage, fahren, schlagen, tragen”⁹.

Известные ошибки немецкоязычных детей, обобщающих слабые или – по иронии – регулярные глаголы и говорящих поэтому «kriechen – krieche – gekrieche» вместо «kriechen – kroch – gekrochen», относятся к этой категории. Она нерегулярна в том смысле, что нельзя предсказать, проявится ли она, или объяснить, рассматривая тексты уже существующие, почему она проявилась в том или ином месте и не проявилась в другом. Кажется, все зависит от случая.

Бехагель противопоставляет законы и аналогию еще и в том смысле, что законы приводят к звуковой дифференциации, тогда как аналогия – к выравниванию, к гармонизации. Обсуждая народную этимологию («*Volksetymologie*»), он подчеркивает мнемотехническое преимущество образования групп – чего современный коннективизм не опровергает. В качестве контрпримера Бехагель приводит свое собственное имя, которое кто-то перепутал с именем *Meloni*.

«Если какое-то слово отличается от другого слова, имеющего тот же корень, одновременно в отношении своего концептуального образа и своих звуков, легко может возникнуть ощущение, что одно из этих слов является производным от другого. При сравнении слов *Stein*, *Steine*, *steinigen* и *steinern* может создаться следующее впечатление: чтобы выразить идею некоторого количества камней, важно конечное -e, а чтобы выразить идею метания камней или каменных предметов, определенную роль будут играть группы звуков -igen- и -ern. Конечно, речь пока идет только об одном конкретном слове, из этого не следует непременно, что -e играет какую-то роль для обозначения количества вообще, и т.д. Обратив на это внимание по поводу -e в слове *Steine*, рассмотрим слово *Kreuze*: оно вызывает в памяти, прежде всего, слово *Kreuz* – однако, в то же время, и то же окончание -e, что и в *Steine*, а тем самым – и слово *Stein*. То же будет иметь место и когда мы вспомним *Fische*, *Tage*, *Tische*; короче говоря, в памяти всплывает не только слово, связанное с данным этимологически, но также, каждый раз, и два неродственных слова, связанных тем же звуковым отношением, что и два первых. Из законов вытекают абсолютно математические пропорции»¹⁰.

⁹ *Ibid.*, S.93.

¹⁰ *Ibid.*, S.100.

В отличие от хаотических и «анархических» последствий в фонетике и в семантике корней слов, гармонизация как следствие аналогии, кажется, оказывает на морфологию упорядочивающее действие; Бехагель говорит даже о «математическом» [*mathematisch*]. Благодаря аналогии, регулярная морфология помогает памяти и в огромной степени облегчает использование языка. Напротив, диахронические законы, предписывающие, например, для существительного *Lamm* ‘ягненок’ множественное число *Lämmer* вместо *Lamme*, всё усложняют: одна и та же морфологическая категория (как, например, множественное число или претерит) может выражаться разными способами. Но плохо ли это? Обратимся к последнему параграфу главы об изменениях формы:

«Если теперь мы уже не помним, каким конкретно способом раньше образовывалось то или иное слово, то зависит лишь от случая, какой из этих способов используется в настоящее время в данном индивидуальном высказывании. И снова, можно сказать [...], что мы будем руководствоваться звуковым обликом слова, который, вследствие более частого употребления, прочнее закрепился в нашем сознании. Возможно, далее, что используемое сочетание звуков случайно будет соответствовать тому, которое употреблялось на этом месте раньше; сейчас это не имеет никакого отношения к звуковому закону. Или же это соответствие не имеет места; прежние отношения изменилось с тех пор по модели других отношений. Если мы образуем “fragte” по модели “sagte” и “klagte”, тогда это соответствует прежнему способу, который существовал уже в старонемецком; “frug”, образованное по модели “trug” и “schlug”, является новообразованием. Впрочем, количество этих новообразований необыкновенно велико; мало-помалу эти более редкие флексии заменяются другими, более обычными, формами, и язык становится все более очевидно однообразным [*die Sprache einer immer größeren Einförmigkeit zugeführt*]»¹¹.

Нет, разнообразие как следствие изменений в соответствии с законами не оценивается отрицательно. Напротив, единообразие, которое устанавливается, когда (и если) аналогия побеждает звуковые законы, Бехагелю очевидно не нравится – как об этом свидетельствует употребленное им немецкое слово *Einförmigkeit*, объединяющее в себе представления о единообразии и... о скуке.

Итак, для Бехагеля и для того из поколений студентов, которое прилежно читало его книгу, прекрасные и гармоничные законы восходят к цепочке событий, которые сами по себе хаотичны и случайны, тогда как аналогия в своей направленности к гармонии привносит лишь произвольный и бесплодный хаос – как в сам язык в целом, так и в лингвистику, в теоретическом отношении. Как научный концепт *аналогия*, сказал бы Уильям Лабов, способствует разрешению предшествующей сложности. Как языковая реальность, она отражает ни к чему не ведущую волю слушающих и говорящих.

¹¹ *Ibid.*, S.101.

3. Заключение (с небольшим экскурсом в античность)

У аналогии не всегда была столь дурная репутация. В девятнадцатом веке, незадолго до возникновения школы младограмматиков в Лейпциге, Французская Академия в «Предисловии» к шестому изданию своего *Словаря* противопоставляет «идиотизмы» [*idiotismes*], специфичные для каждого языка, и аналогию. При этом ученые приходят к выводу, что и «идиотизмы», и аналогия действуют на язык благотворно: первые придают языку оригинальность, тогда как аналогия – правильный и регулярный характер [*la justesse*]¹².

Однако что следует понимать под «идиотизмами», а что – под «анalogией»? Академия отсылает нас в Древний Рим, где Цезарь сначала вмешался в дискуссию об отношении между языком и действительностью, а затем и в дискуссию об отношениях между разными частями языка. По-видимому, эти дискуссии были начаты в третьем веке до нашей эры Хрисиппом: имеется в виду его утерянный трактат *Об аномалии*¹³. Прочитую академиков:

«Труд, состоящий из двух книг и написанный Цезарем об *анalogии* – его обращение к Цицерону, – утерян, за исключением нескольких слов. Но если столь великий человек обратился к такой теме, надо полагать, он понимал, что эта тема в себе заключает, и что он не предполагал, подобно Квинтилиану, “анalogии, основанной не на разумной причинности [*raison*], но на примерах, и не имеющей иного происхождения кроме как в употреблении [*usage*]”. Разбираться в этом употреблении, часто противоречивом, было бы делом, не достойным Цезаря. Однако аналогия – это другое дело: это не только правило, которое в сложных языках с разнообразными окончаниями в целом подвергает все слова, имеющие одну и ту же форму, одинаковым изменениям. Она предполагает и определенные пропорции, отношения слов между собой, согласие образов. В этом смысле она признает правоту употребления или же исправляет последнее; она является наиболее изысканной частью философии языка»¹⁴.

Мне кажется не случайным то, что здесь сложно отделить «философию языка», где язык будет пониматься как объект, от «философии языка», где язык понимался бы как субъект: язык как философия, язык как философ. В обоих случаях аналогия будет предполагать поиск – научный или идеологический – ясного и рационального языка, не имеющего при этом ни истории, ни будущего. Именно поэтому для младограмматиков аналогия стояла на втором плане, тогда как первостепенное значение они отводили звуковым законам.

Если Цезарь действительно хотел «исправлять употребление» как поправляют существующее положение дел вообще, то это потому, что употребление представлялось ему состоящим из аномалий. Этого слова нет среди тех немногих, которые сохранились от двух книг Цезаря. Может быть, чтобы узнать об этом больше, следует подождать выхода монографии Алессандро Гарсеа *De Analogia*, о публикации которой в 2012 году объявило издательство Oxford University Press.

¹² *Dictionnaire de l'Académie Française*, sixième édition, t.1. Paris 1835, p.xxi.

¹³ Cf. *Handbuch der Linguistik*, éd. Harro Stammerjohann. München 1975, S.439.

¹⁴ *Dictionnaire de l'Académie Française* (1835), *op.cit.*, p.xxi.

Впрочем, слова *аномалия* нет и у Бехагеля. Его предшественники и коллеги – младограмматики хотели заставить всех поверить в то, что «идиотизмы», специфические выражения того или иного языка, являются лишь результатом действия звуковых законов, возникших хаотически. Кажется, после законов и аналогии, аномалия является тем третьим, которого «не дано» (*tertium non datur*) и на которое накладывается запрет – особенно последнее верно в отношении начинающих, для которых и предназначена книга Бехагеля.

Если в «Предисловии» Французской Академии об аномалии говорится как о «часто противоречивом употреблении», то с тех пор последнее стало любимым объектом изучения лингвистов и «наиболее изысканной частью философии языка».

Если этот «запрет» (на изучение) того, что не является ни законом, ни аналогией [*cette défense du ni-loi-ni-analogie*], как кажется, противоречит тому, о чем пишет Бехагель, можно сослаться на его статью для прессы *Anarchie und Diktatur*, которую он написал в 1880 году (то есть, за два года до книги *Die deutsche Sprache*), в контексте дискуссии о реформе орфографии. К огромному удовольствию читателей, безразличных к этой реформе, Бехагель прибегает к двум метафорам, которые вполне могут шокировать, ибо орфография является для него вопросом лишь второстепенным («eine Frage zehnten Ranges»). Для Бехагеля «анархия» разных способов выражать на письме те или иные произношения (которые уже и сами по себе не являются в немецком языке единообразными) не представляет никакой проблемы. Если кто-то, тем не менее, хочет, чтобы вопрос этот был урегулирован, он должен будет согласиться с «диктатурой» решения, принятого правительством. И я закончу свою статью словами Бехагеля: «Наука занимается лишь истиной; пусть она задается вопросами о том, что есть, что было, почему это так или почему это так было – в крайнем случае, вопросом о том, что будет. Однако то, что должно быть, ее нисколько не должно интересовать»¹⁵.

(Перевела с французского Е. Вельмезова)

Phonetic laws, analogy and anomaly in the works of Otto Behaghel, last of the Neogrammarians

Otto Behaghel (1854-1936), at the same time specialist in historical syntax and generalist in German language and linguistics, was still read with systematic and not only historical interest in the Seventies and Eighties. Thus forming a bridge between later 19th century Neogrammarians and late 20th century students of German, his views on laws and analogy are of special interest. He leads his readers to the conclusion that phonetic laws create chaotic conditions while analogy creates harmony, that is, as Behaghel has it, boredom.

¹⁵ Otto Behaghel, *Anarchie und Diktatur*, “Literarische Beilage der Karlsruher Zeitung”, 1880, №31.

ВАЛЕРИЙ КОСОВ
(Гренобль)

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Введение

Основной целью данного исследования является анализ тех изменений, которые затронули в конце двадцатого – начале двадцать первого века концепцию закона в современном политическом дискурсе в России. Конечно, задача кажется огромной, и исследование можно было бы расширить, распространив его на различные виды политического дискурса и смежные правовые концепции. Однако для данного начального этапа исследования мы ограничим свой корпус образцами президентского дискурса, который, на наш взгляд, оказывает наиболее существенное влияние на различные специализированные понятия и концепции, в число которых входит концепция закона.

Президентский дискурс рассматривается нами прежде всего как институциональный, то есть, с одной стороны, представляющий президента как институт власти, а с другой стороны, отражающий личное понимание той или иной концепции человеком, занимающим пост президента. Таким образом, основу корпуса составляют ежегодные послания Президента Федеральному собранию Российской Федерации, а также специально подобранные пресс-конференции и интервью, содержащие упоминания или комментарии понятия *закон*.

Определив базовый смысл, который вкладывается в концепцию закона в президентских посланиях парламенту, мы попытаемся проанализировать некоторые связанные с прагматикой особенности в использовании данного термина. Особенности эти можно выделить в процессе изучения дискурса публичных выступлений Президента в рамках медийной коммуникации, предназначенной для интерпретации концепции и вульгаризации ее для той социальной группы, на которую направлено конкретное сообщение.

На основе метода контент-анализа мы попытаемся выделить несколько дискурсивных моделей концепции закона, а также его имплицитную связь

с некоторыми родственными понятиями, такими как *государство* и *власть*. Это позволит нам определить общие и отличительные черты данных понятий в процессе их использования в политическом дискурсе советской эпохи, переходного периода и в настоящее время.

Для более полного определения закона как правовой концепции мы постараемся совместить основные элементы правовой доктрины России и Франции. Таким образом, закон будет представлять собой норму или систему норм правовых или экстра-правовых норм, представленную в виде текста, принятого парламентом либо в результате референдума, что указывает нам на органичный или правообразующий характер закона. Этим формальный закон отличается от законов материальных, таких как декреты, ордонансы, постановления или указы. В системе иерархии правовых норм закон является высшей нормой права, источником которой должно быть волеизъявление народа. В отличие от обычаев, закон – норма, закрепленная на письме¹.

Это современное определение закона отличается от советского определения, в котором в качестве основного источника закона выделяется воля правящего класса, а также подчеркивается тесная связь между юридическими и экономическими законами, когда последние представляются как определяющие². Отличительные элементы определений двух эпох находят свое отражение в идеологии и советском политическом дискурсе, о котором пойдет речь в первой части данной статьи.

Концепция закона в советском политическом дискурсе

На смену послереволюционному периоду, когда в концепции закона преобладала идея классового сознания, пришла сталинская эпоха формирования советской государственности, в ходе которой концепция закона мыслится в неразрывной связи с понятием *социалистической законности*, воплотившейся в «самой демократической» конституции 1936 года. Этот процесс объясняется необходимостью в период репрессий внушить населению ощущение безопасности и веру в государственную справедливость³. Кроме того, речь идет об укреплении «социалистического порядка», официально провозглашенного после принятия конституции в политическом дискурсе того времени.

В то время как официально утверждается приоритет закона над любой формой администрации, на практике можно констатировать повсеместный административный произвол, выражающийся в том числе и в репрессиях. Таким образом образуется раздвоенное восприятие законности как в массовом сознании, так и у руководства страны. С одной стороны, все демонстрируют уверенность в том, что соблюдение закона является залогом безопасности по отношению к государству с его репрессивным аппаратом. С другой – все, за исключением, возможно, наиболее наивных, осознают исключительно формальный ха-

¹ Gérard Cornu, *Vocabulaire juridique*. Paris 2007, p.560; см. также Л.В. Тихомирова, М.Ю. Тихомиров, *Юридическая энциклопедия*. Москва 2008, с.322.

² Борис Введенский (гл. ред.), *Энциклопедический словарь*. Москва 1953, т.1, с.626.

³ Nicolas Werth, *Histoire de l'URSS*. Paris 2008.

рактика закона, который не выполняет своих защитных функций. Так, например, принцип «неприкосновенности жилища», закрепленный в законе, регулярно нарушается в ходе ночных арестов и обысков.

Возможно, именно это раздвоение между формальной стороной закона и реальностью было причиной трудностей в формулировке официального полного определения закона. В 1948 году профессор права Ленинградского государственного университета Михаил Шаргородский признает тот факт, что в советской правовой доктрине по-прежнему отсутствует единая концепция закона, применимая ко всей правовой системе⁴.

Таким образом, в советский период концепция закона формируется под воздействием двух факторов – двойная реальность и политический дискурс, который определяет следующие характеристики закона:

«связь между законом и правящим классом, который формирует правовые нормы в зависимости от своих интересов;
противопоставление классовых интересов и, как следствие, не отражение общественных интересов законами “капиталистического общества”;
связь между юридическими и объективными экономическими законами, в которой последние играют более важную и определяющую роль»⁵.

Советская концепция закона в политическом дискурсе представлена как происходящая от волеизъявления народа. Это последнее осуществляется посредством представительных органов и под руководством партии, чтобы затем реализовываться в виде конкретных норм, служащих интересам общества, в котором не существует большинства или меньшинства. Данная связеобразующая цепочка прослеживается и на уровне организации институтов власти. Подобная концепция закона противопоставляется в советском политическом дискурсе буржуазной концепции, которой свойственен дуализм формальных и материальных законов. Последние, как признак произвола исполнительной власти, предназначены для обслуживания интересов миноритарной правящей верхушки.

В действительности же именно советские законы можно было разделить на формальные, как, например, Конституция, и материальные, существующие в виде подзаконных актов исполнительной власти. Как правило, именно с помощью подзаконных актов регулируются общественные отношения под руководством партии и ее руководителя.

Схематически подобное раздвоение между дискурсивной моделью закона и реально существующей концепцией можно представить следующим образом:

Дискурсивная модель: Народ – Государство, Партия, Вождь – Законы – Общественные интересы – Народ

Действующая модель: Вождь, Партия, Государство – Материальные законы – Идеологические интересы – Народ

⁴ Михаил Шаргородский, *Уголовный закон*. Москва 1948, с.29.

⁵ Сергей Братусь, Николай Казанцев, Степан Кечекьян, *Советский юридический словарь*. Москва 1953, с.256.

Необходимо также упомянуть, что помимо идеологического компонента присутствовал и обязательный элемент принуждения, роль которого заключалась в формировании новых общественных отношений либо в изменении существующих отношений для их приведения в соответствие с политикой партии. Именно к этому вопросу относятся изменения, затронувшие концепцию закона в 1990-ые годы.

Закон, Государство и Глава государства в 1990-ые годы

В процессе формирования отношения к закону политической власти постсоветской России можно выделить два этапа: до и после 1993 года. Новое понимание концепции закона, превалирующего над административными постановлениями в рамках правового государства, формируется еще в конце восьмидесятых годов. Однако сама по себе институциональная система меняется довольно медленно. Необходимость настоящей реформы законодательства проявляется в президентском дискурсе после принятия Конституции 12 декабря 1993 года, ставшей причиной не только бурной полемики, но и вооруженного конфликта между законодательной и исполнительной властью ранее, в октябре 1993 года.

В своем первом, после принятия новой Конституции, послании Федеральному собранию Борис Ельцин акцентирует внимание депутатов на предстоящих задачах в законодательной сфере. Частотность употребления термина *закон* в данном послании относительно высокая, что, однако, не является показателем степени важности законодательных задач. В частности, президентское послание 1994 года содержит 113 употреблений, связанных с понятием *закон*, в 1995 году количество употреблений возросло до 168, а в 1996 году снизилось до 68. В последующие годы количественные показатели снова возросли: в 1999 году – 167 употреблений.

Подобные колебания можно объяснить изменениями политических приоритетов, связанных с многочисленными политическими событиями в девяностые годы. В частности, проблеме формирования нового законодательства уделяется больше внимания в периоды выборов в Государственную Думу, тогда как снижение интереса к данной проблеме проявляется в периоды после выборов, когда в нижней палате парламента формировалась устойчивая коммунистическая оппозиция.

Концепция закона в понимании первого российского президента существенно отличается от общепринятого определения советской эпохи, что вполне естественно, поскольку именно с этим режимом боролся Борис Ельцин в позднесоветский период. В 1994 году президент призывает депутатов принять целый комплекс новых законов, хотя по своему составу Дума уже представляла весомую оппозицию лично Борису Ельцину и тем реформам, для реализации которых были необходимы новые законы. Возможно, по этой причине в президентском послании 1994 года довольно много безличных структур, выделяющих в первую очередь институт президента и оставляющих в тени личность самого Бориса Ельцина, который с 1992 года ассоциировался в массовом сознании с непопулярными либеральными реформами. Подобное стирание личностного фактора

тем не менее парадоксальным образом сочетается с распространенной в те годы практикой замены законов президентскими указами. Легитимность этой практики Борис Ельцин аргументирует неэффективностью работы парламентариев в своем послании 1995 года: «[...] парламент еще не скоро удовлетворит потребности практики в качественных законах. В этих условиях Президент обязан своими нормативными указами восполнять правовые пробелы»⁶.

Таким образом, в понимании Бориса Ельцина закон представляется как одно из средств, позволяющих порвать с коммунистическим прошлым, как залог укрепления демократической модели власти и как гарантия невозврата к прежнему режиму. Однако пока не сложилась совершенная законодательная система, в задачи президента входит защита законодательной сферы и проведение прочих демократических реформ посредством находящихся в его компетенции подзаконных актов. В редких интервью Борис Ельцин видит себя также в роли арбитра для тех случаев, которые ускользают из поля действия закона. Власть президента, если она не выходит за конституционные рамки, должна использоваться для заполнения законодательных пробелов, а также для вынесения санкций во имя закона и за несоблюдение закона. По этому вопросу Борис Ельцин использует часто коллективное «мы», пытаясь дистанцироваться от собственной личности, заостряя внимание на своей должности:

«Наша линия ясна – провести чистые и честные выборы. Базовая задача власти – обеспечить всем участникам выборов абсолютно равные условия. И здесь главным нашим оружием является новый избирательный закон. Если кто-то его нарушит, будем наказывать»⁷.

В новой дискурсивной модели концепции закона 1990-ых годов институт президента, гаранта закона, ставится на один уровень с законом, распространяя на все законодательное поле действительную президентскую функцию гаранта Конституции. Таким образом президент может использовать свою власть для разрешения проблем, связанных с законодательными пробелами или с несоблюдением законов. Что же касается злоупотреблений властью, то они рассматриваются как легитимные ввиду трудностей переходного периода и являются временными мерами.

В данном случае схема дискурсивной модели концепции закона может быть представлена следующим образом:

Граждане – Закон – Власть/Президент.

Дискурсивная модель переходного периода претерпевает значительные изменения после смены президента в 2000 году.

⁶ *Послание Федеральному собранию Российской Федерации*, “Российская газета”, 7.03.1995.

⁷ *Интервью Б.Н. Ельцина*, “Известия”, 6.07.1999.

«Диктатура закона» в начале нового века

Выборы Владимира Путина на пост президента приносят новые элементы в толкование и понимание концепции закона. В своем первом послании Федеральному собранию 8 июля 2000 года новый президент устанавливает новые рамки в системе отношений, с одной стороны, между федеральным центром и субъектами федерации, а с другой – между государственными органами и гражданами. Эти рамки резюмируются в краткой формулировке «диктатура закона».

Конечно, эта фраза, одно из «ударных» выражений Владимира Путина, используется для придания посланию тогда еще молодого и малоизвестного президента большей решительности и детерминизма. Публика должна была услышать слова сильного и бескомпромиссного политика. Послание адресовано в первую очередь членам Совета Федерации, который в то время состоял в большинстве своем из губернаторов-фрондеров. Интердискурсивное сообщение, которое содержит данное выражение, состоит в своего рода предупреждении о предстоящих реформах по приведению в соответствие с федеральным законодательством законодательства субъектов федерации и в целом о будущем «подчинении регионов».

В президентском дискурсе 2000-ых годов начинают меняться отношения между концепциями закона, президентской власти и государства. В отличие от своего предшественника, настаивавшего на скорейшем принятии новых законов для сужения возможностей злоупотреблений власти, Владимир Путин уделяет больше внимания вопросу применения и соблюдения законов, а также принципу равенства всех перед законом. Такая позиция объясняется новым соотношением политических сил в Государственной Думе, где после выборов 1999 года коммунистическая оппозиция была ослаблена благодаря убедительному результату деятельности пропрезидентского движения «Единство».

Концепция закона в путинском дискурсе рассматривается в рамках системы с преобладанием формальных законов прямого применения над законами материальными, выраженными в виде подзаконных актов: «Надо обеспечить применение законов прямого действия, свести к минимуму ведомственные инструкции, устранить двойственность толкования нормативных актов»⁸.

Однако под прямым применением закона иногда понимается и дословное применение, когда защищается не столько принцип, лежащий в основе правовой нормы, сколько сам текст закона. Это позволяет по-разному толковать норму в зависимости от интересов президента-юриста. В качестве примера можно привести толкование конституционного положения о невозможности занимать пост президента «более двух сроков подряд». Избрание Владимира Путина на третий срок в 2012 году связано с буквальным толкованием данного конституционного принципа, где слово *подряд* оказалось решающим в предоставлении Путину вполне законного права участвовать в выборах в 2012 году и занимать пост президента в настоящее время.

⁸ *Послание Федеральному собранию Российской Федерации*, «Российская газета», 8.07.2000.

Подобная двойственность концепции закона как формальной нормы, с одной стороны, и как текста, подверженного различным толкованиям, с другой, проявляется также и в сфере применения закона. С одной стороны, в дискурсе Владимира Путина содержится идея, согласно которой прямое применение должно изменить отношение россиян к закону, то есть, данный принцип должен поощрять граждан соблюдать законы и следить за их исполнением: «[...] чтобы строгое исполнение закона стало осознанной потребностью всех граждан России»⁹.

С другой стороны, пропорции, в которых применяется закон, зачастую определяются субъективно и даже произвольно, то есть, одни и те же законы применяются по-разному в отношении разных субъектов права. Наиболее заметным примером подобной двойственности применения закона стало дело компании ЮКОС.

В послании 2000 года Владимир Путин признает наличие расхождений между законом и его применением в реальной жизни: «Однако буква закона и реальная жизнь подчас далеки друг от друга»¹⁰.

Попытки сблизить реальность и закон проходят через установление контроля президента за этой реальностью посредством закона. На основе этой модели президент сам решает, как и в каких объемах применить закон.

В своем послании Федеральному собранию Российской Федерации в 2006 году Владимир Путин, с одной стороны, заявляет, что закон не пощадит тех, кто его нарушал, подразумевая участников либерализации девяностых годов. С другой стороны, президент предлагает сократить сроки давности по делам, связанным с приватизацией в девяностые годы. Таким образом, это позволяет держать на расстоянии олигархов, одновременно давая им понять, что дело ЮКОСа – единичный случай, и такой ситуации всегда можно избежать, оставаясь лояльным по отношению к власти: «[...] нарушившие закон, должны знать, что наказание неотвратимо [...]. В то же время нельзя безразлично относиться к тем, кто нарушал законы, заключая сделки. [...] десять лет – это слишком большой срок давности, такого больше нигде не было»¹¹.

Учитывая субъективную составляющую как в самой концепции закона, так и в процедуре его применения, можно выделить из путинского дискурса формальную ассоциацию между законом и государственной справедливостью. Однако расхождения между принципом равенства всех перед законом и его воплощением в жизнь позволяют сказать, что наиболее решающую роль в сфере законотворчества и законоприменения играет власть президента. В отличие от своего предшественника, Владимир Путин не заостряет внимание на президентской функции «гаранта» конституции и законности, а в реальности устанавливается взаимосвязь между понятиями *государства* и *президентской власти*, от которой происходит закон.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Послание Федеральному собранию Российской Федерации, “Российская газета”, 11.05.2006.

Таким образом, раздвоение концепции закона в дискурсе 2000-ых годов можно схематично представить следующим образом.

Дискурсивная модель: Закон – Государство – Президент / Граждане

Действующая модель: Президент, Государство, Закон – федеральные и региональные институты – Граждане

Избрание новым президентом в 2008 году Дмитрия Медведева мало изменило подход к концепции закона. Как и его предшественник, президент опирается на концепцию закона в органическом и формальном смысле. Однако в отличие от Владимира Путина, Дмитрий Медведев проявляет к концепции закона больше уважения и пиетета. Разумеется, он, как юрист-теоретик и практик, тем не менее, всегда был далек от осознания сложности процесса законотворчества и реалий высшей государственной власти. Стремясь отвечать ожиданиям либеральной интеллигенции, Дмитрий Медведев иногда выражает сомнения в необходимости того или иного закона. В начале правления он уделяет больше внимания необходимости преодолеть «правовой нигилизм» российских граждан и сделать из россиян нацию законопослушных людей. Эти черты раннего медведевского дискурса создают ему имидж «просвещенного монарха», что отличает конфигурацию корреляции концепций президента и закона по сравнению с предшествующими моделями. В понимании Дмитрия Медведева, закон должен быть прежде всего «справедливым», и это – необходимое предварительное условие того, чтобы российские граждане поняли ценности законопослушности.

В целом Дмитрий Медведев отличается от предшественников более взвешенным соотношением между концепцией закона и собственным «я» или коллективным «мы». Как следствие, можно выделить более сбалансированные дискурсивные корреляции концепции закона и главы государства.

Среди политико-экономических инициатив Дмитрия Медведева особенно выделяется его проект «модернизации» России путем внедрения новых технологий в самые разные сферы, в том числе в сферу публичных услуг и администрации. В частности, речь идет о создании электронных публичных услуг или о возможности для населения обсуждать и высказывать свое мнение в интернете о законопроектах или судебных решениях. Подобные меры должны, по мнению президента, способствовать более активному участию граждан в законодательной работе и преодолению «правового нигилизма». Однако традиционный для юристов консерватизм Дмитрия Медведева проявляется тогда, когда речь заходит о радикальных изменениях концепции. Наличие электронных законопроектов и их обсуждение в сети не подразумевает упразднения письменной формы закона: «Но это президентские документы, это самые высшие документы – указы Президента, законы. Их, наверное, и через 100 лет Президент будет подписывать на бумаге»¹².

¹² Стенограмма встречи Дмитрия Медведева со своими сторонниками, «Российская газета», 20.10.2011.

Краткий сравнительный анализ концепции закона в динамике политического дискурса разных политических периодов позволяет обрисовать некоторые перспективы и сделать выводы об изменениях концепции в дискурсивных моделях.

Заключение

Трансформации концепции закона в политическом дискурсе неразрывно связаны с социально-экономическим развитием в России. В ходе реформ девяностых годов в данную концепцию вводятся фундаментальные принципы правового государства, такие как прямое применение закона, равенство всех граждан перед законом, приоритет формальных законов над материальными.

Дополнительные коннотации появляются у термина *закон* в его связи с понятием *главы государства* и населением, на основе которого еще не окончательно сформировалось общество. Это создает дискурсивную модель, где концепция закона тесно связана с концепцией «Президента – гаранта закона».

Однако на рубеже веков, после выборов нового главы государства, концепция «Президента – гаранта закона» трансформируется, акцентируя смысловую нагрузку на роли «Президента-законодателя». При этом «народ», чья воля должна быть выражена в законе, превращается в «граждан», для которых законы принимаются волеизъявлением главы государства. Концепция закона в данном случае обретает более авторитарный смысл, а формальный аспект закона, выражающийся в его верховенстве над прочими нормами, позволяет придать видимость легитимности произвольной и авторитарной законоприменительной практике. С одной стороны, в политическом дискурсе прослеживается стремление покончить с советскими традициями замены формальных законов материальными нормами, такими как инструкции, установки, постановления. С другой стороны, примеры правоприменительной практики в настоящее время порой отсылают нас к эпохе «социалистической законности», когда принцип «равенства всех перед законом», провозглашаемый в официальном дискурсе, не всегда применялся в реальной жизни.

В конечном счете, можно выделить одну общую и немаловажную черту в том, что касается представлений о концепции закона в советском и современном политическом дискурсе и реализации этой концепции на практике. Речь идет о «декоративной» роли закона как юридического акта, функции которого в советское время подменялись актами регламентарного и административного характера, тогда как в настоящее время они деформируются посредством разнонаправленных толкований в правоприменительном поле.

Подобные расхождения между дискурсивной моделью концепции и реальностью подводят нас к мысли о двойственности целей и задач современной российской власти. С одной стороны, цель состоит в том, чтобы построить демократическое и законопослушное общество, стабильность в котором во многом зависит от соблюдения закона, и в данном случае это основной лейтмотив политического дискурса. С другой стороны, применение закона тесно связано с властными приоритетами поддержания и укрепления контроля и управления государством, классическая модель которого трансформируется под воз-

действием новых идеологических компонентов, таких как «управляемая демократия» и «государство-корпорация». Данная тенденция ведет к укреплению в рамках концепции закона его авторитарной составляющей, что ведет к несостоятельности принципа формального равноправия всех перед законом и фактически противоречит первоначально заданной установке политической власти.

The evolution of the concept of Law through the contemporary Russian political discourse

During the 20 years since the dismantlement of the USSR, the legal terminology has been affected, on the one hand, by loanwords and neologisms which designated new emerging legal concepts and, on the other hand, by transformations of the meanings for the existing legal concepts. This kind of transformation seems to have touched the concept of Law and some related notions such as Legislation, Lawmaking or Rule-Making, Legality. This transformation process has also impacted on the sense of Law-abiding or Law-breaking notions and the principle of legal equality and parity. This article aims at studying, from a diachronic angle, the evolution of the concept of Law in Russian political discourse during the transition period of Boris Yeltsin and throughout the new age of two lawyer-presidents Vladimir Putin and Dmitry Medvedev. This question will be studied from two perspectives, firstly, the common and divergent elements of the concept of Law in different discursive models of Soviet and post-Soviet periods and, secondly, the role of the concept transformations in the ideological objectives of the present Russian political authorities.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛЬМЕЗОВА
(Лозанна)

**АВГУСТ ШЛЕЙХЕР, МАКС МЮЛЛЕР И...
ПРОСПЕР МЕРИМЕ О ЗАКОНАХ ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВ**

«Мы верим [...] – по крайней мере, пока нам не докажут противного, – что развитием языка, как и всякого другого произведения природы, управляет закон и порядок, и что изменения, замечаемые нами в истории человеческой речи, вызываются общими, подлежащими определению, законами»¹.

«Нет сомнения, что без знания соотношений языков и законов, обуславливающих их развитие, никто не может составить себе удовлетворительного воззрения на природу и сущность человека»².

Закон – одно из немногих лингвистических понятий, которые попали в художественную литературу в качестве составляющей языковедческой теории, достаточно эксплицитно перенесенной в литературное произведение³. Одно из таких произведений – новелла Проспера Мериме «Локис» (1869), с персонажем-лингвистом профессором Виттенбахом⁴. Профессору Виттенбаху в новелле «Локис» отведена двойная роль: это и рассказчик, от лица которого ведется пове-

¹ Макс Мюллер, *Наука о языке. Новый ряд чтений Макса Мюллера в Великобританском Королевском Институте в феврале, марте, апреле и мае 1863 г.* Воронеж 1866, с.282.

² Август Шлейхер, *Теория Дарвина в применении к науке о языке (публичное послание доктору Эрнсту Геккелю, э.о. профессору зоологии и директору Зоологического музея при Иенском университете)* (1863). Санкт-Петербург 1864, с.2.

³ Таких теорий вообще не так уж и много (см. Ekaterina Velmezova, *L’histoire de la linguistique dans l’histoire de la littérature: exposé d’une méthodologie pour l’enseignement de l’histoire des idées linguistiques*, “Cahiers de l’ILSL”, 2011, №31, p.223-246).

⁴ Подробный анализ ряда лингвистических теорий, представленных в новелле «Локис», сделан нами в работе Екатерина Вельмезова, *Иоганн Виттенбах, Август Шлейхер, Макс Мюллер и... Проспер Мериме? (Рассуждения о языках и языке в новелле «Локис»)*, in А. Михайлов (отв. ред.), *Проспер Мериме. Материалы международной юбилейной (1803-2003) научной конференции*. Москва 2010, с.197-218. В настоящей статье мы развиваем некоторые положения, которые были затронуты в этом исследовании.

ствование, и вовлеченный в сюжетное действие персонаж – ученый, порой педантично и не без гордости делящийся своими знаниями с окружающими. В комментариях к русскому переводу новеллы А. Михайлов пишет: «Как полагают многие исследователи, под этим именем в новелле выведен известный немецкий ученый-лингвист Август Шляйхер (1821-1868), автор грамматики литовского языка (1856) и его словаря (1857); он выпустил также сборник литовского фольклора»⁵. Однако реальный Август Шлейхер согласился бы отнюдь не со всеми суждениями профессора – персонажа «Локиса». Более того, в изображенном в новелле профессоре сравнительного языкознания можно узнать черты сразу трех (а не одного) реальных ученых – современников Мериме: это и Август Шлейхер, и Макс Мюллер (1823-1900), и Иоганн-Гуго Виттенбах (1761-1848). Если последний, историк и археолог, «подарил» персонажу новеллы «Локис» свое имя со слегка измененной орфографией (ср. реальный *Wyttenbach* vs *Wittenbach* у Мериме), то двое других, Шлейхер и Мюллер, щедро поделились как с ним, так и с другими персонажами своими размышлениями лингвистического характера⁶ – в том числе, и рассуждениями о законах⁷.

В лингвистических суждениях профессора Виттенбаха слово *закон* встречается дважды. Так, он «ломал себе голову над таинственным законом, по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени»⁸ и говорил о «законах перехода санскрита в литовский язык»⁹ – причем во французском оригинале новеллы речь в последнем случае (как, впрочем, и в первом) идет о *законе* в единственном числе («loi de transformation du sanskrit au lituanien»¹⁰).

Август Шлейхер и Макс Мюллер о законах развития языка

В девятнадцатом веке вообще, а тем более начиная с шестидесятых-семидесятых годов, когда Мериме и писал свою новеллу, слово *закон* было одним из ключевых для лингвистики – причем не только для сравнительно-исторического языкознания, где речь шла о законах развития конкретных языков, но и для направлений языкознания, больше связанных с философией: в этом случае языковеды размышляли над законами развития человеческого языка в целом. Именно в этом ключе чаще всего рассуждали о законах в лингвистике и Шлейхер, и Мюллер.

⁵ Андрей Михайлов, *Комментарии*, in П. Мериме, *Новеллы*. Москва 1978, с.331-347; с.344.

⁶ См. Екатерина Вельмезова (2010), *op.cit.* Кроме того, Виттенбах – литературный персонаж воплощал некоторые черты и самого Мериме, в том числе, его интерес к лингвистике и к конкретным языкам (*ibid.*, с.211-212).

⁷ Так как эта статья написана по-русски, при цитировании и Шлейхера, и Мюллера мы обратимся прежде всего к опубликованным русским переводам их трудов, изменяя их (за некоторыми исключениями) лишь с учетом требований современной орфографии.

⁸ Проспер Мериме, *Локис* (1869), in П. Мериме (1978), *op.cit.*, с.260-310; с.299.

⁹ *Ibid.*, с.309.

¹⁰ Prosper Mérimée, *Lokis* (1869), in P. Mérimée, *Théâtre de Clara Gazul. Romans et nouvelles*. Paris 1978, p.1049-1090; p.1090.

Так, Август Шлейхер, один из прототипов персонажа Виттенбаха, вообще видел одну из основных задач лингвистики в открытии *законов развития языка*¹¹: «Установление законов, по которым языки изменяются в течение их жизни, представляет одну из основных задач глоттики¹², так как без познания их невозможно понимание форм языков, в особенности ныне живущих»¹³. Шлейхер даже упоминает особый «закон развития, проявляющийся в жизни языков»¹⁴ (см. об этом и далее). Слово *жизнь*, употребляемое здесь по отношению к языкам, объясняется, в частности, тем, что Шлейхер уподоблял языки живым организмам, а лингвистику считал одной из естественных наук: «[Я]зыки суть настоящие организмы, и их жизнь в сущности не отличается от жизни других организмов природы»¹⁵; «[Г]лоттика или наука о языке [...] есть естественная наука; ее метод в общих чертах тот же, как в других естественных науках»¹⁶. Той же точки зрения, впрочем, придерживался и Макс Мюллер¹⁷. Более того, именно *языковые*

¹¹ Это уже неоднократно отмечалось историками лингвистики (см., напр., Владимир Алпатов, *Август Шлейхер*, in В. Алпатов, *История лингвистических учений*. Москва 1998, с.78-83; с.78 и 81; Николай Кондрашов, *Развитие сравнительно-исторического языкознания и натуралистическое направление [А. Шлейхер]*, in Н. Кондрашов, *История лингвистических учений*. Москва 2004, с.55-70; с.60-61; Тамара Амирова, Борис Ольховиков, Юрий Рождественский, *Натуралистическое направление. А. Шлейхер*, in Т. Амирова, Б. Ольховиков, Ю. Рождественский, *История языкознания*. Москва 2005, с.323-332; с.325 и дал., и т.д.).

¹² Как пишет Шлейхер, «это отличное слово [...] решительно надо предпочесть неудачно образованной “лингвистике”» (Август Шлейхер, *Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков [предисловие]* [1876], in В. Звегинцев [сост.], *Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков*. Москва 1956, с.89-92; с.89). (Впервые работа Шлейхера *Компендий сравнительной грамматики индоевропейских языков* была издана в 1861 году.) А вот мнение Мюллера по поводу названия науки о языке: «Во Франции она получила приличное, но несколько варварское название лингвистики. [...] Я, лично, предпочитаю просто назвать ее “наукою о языке” [...]» (Макс Мюллер, *Лекции по науке о языке, читанные в Королевском Британском институте в апреле, мае и июне 1861 г.* [1861]. Санкт-Петербург 1865, с.3) (курсив автора. – Е.В.). Ср. также у Мюллера слово *гlossология*, отсылающее к языкознанию (Макс Мюллер, *Наслоение языка. Лекция, прочитанная в заседании Кэмбриджского университета 29 мая 1868 г.* Воронеж 1871, с.2). – Е.В.

¹³ Август Шлейхер (1876 [1956]), *op.cit.*, с.90. Ср. также следующую его цитату: «Грамматикой мы называем научное рассмотрение и описание звуков, форм, функций слова и его частей, а также строения предложения. [...] Предметом изучения грамматики может быть язык вообще, или определенный язык, или группа языков: общая грамматика и частная грамматика. В большинстве случаев она изучает язык в процессе его становления и, следовательно, должна исследовать и описать жизнь языка в ее законах» (*ibid.*, с.89) (курсив наш. – Е.В.).

¹⁴ Август Шлейхер, *Немецкий язык (извлечения)* (1869), in В. Звегинцев (сост.) (1956), *op.cit.*, с.92-98; с.95. (Первое издание *Немецкого языка* вышло в 1860 г.)

¹⁵ Август Шлейхер, *Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков*, “Записки Императорской Академии наук”, 1865, т.8, кн.1, с.28.

¹⁶ Август Шлейхер (1863 [1864]), *op.cit.*, с.3; ср. также Август Шлейхер (1876 [1956]), *op.cit.*, с.89.

¹⁷ См., напр., Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.1 и дал.

законы позволяли как Шлейхеру, так и Мюллеру считать лингвистику одной из естественных наук:

«Наблюдение показывает, что все живые организмы, входящие в круг правильно произведенных наблюдений, изменяются по известным законам. Эти изменения организмов (их жизнь) составляют настоящую их сущность»¹⁸; «жизнь организмов языка вообще совершается по известным законам»¹⁹; «языки, как и все организмы в природе, развиваются по определенным, истинным в них живущим и от человеческой воли не зависящим законам»²⁰; «[я]зыки представляют естественные организмы, которые происходили, возростали и развивались независимо от воли человека по известным законам, потом точно так же старели и умирали, представляя собою весь тот ряд явлений, который обыкновенно подразумевается под названием “жизни”»²¹.

«[о]братим [...] внимание на то, что, хотя язык подвержен непрерывной перемене, однако не во власти человека ни произвести, ни отвратить ее. Задумать переменить законы, по которым совершается наше кровообращение, или стараться прибавить к нашей высоте один дюйм, было бы тоже самое, что переделывать законы языка или изобретать новые слова по нашему произволу. Как человек властвует над природою только тогда, когда знает ее законы и покоряется им, так поэт и философ делаются властелинами языка только тогда, когда знают его законы и им повинуются»²²; законы эти «не находятся в распоряжении и власти свободной воли человека»²³.

По аналогии с жизнью живых организмов, в «жизни языка» Шлейхер выделяет два периода – развитие (в «доисторический» период) и распад (в «исторический» период):

«[к]ак [...] [и живые организмы], так и языки, в течение своей жизни, по определенным законам, мало по малу стареют и теряют совершенство формы: стало быть, они должны иметь и период возникновения и созревания»²⁴; «[ж]изнь языка (обычно именуемая историей языка) распадается на два периода. 1. Развитие языка, доисторический период. Вместе с человеком развивается язык, т.е. звуковое выражение мысли. Даже простейшие языки есть результат постепенного становления. Все высшие формы языка возникли из более простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих. 2. Распад языка в отношении звуков и форм, причем одновременно происходят значительные изменения в функциях

¹⁸ Август Шлейхер (1863 [1864]), *op.cit.*, с.4 (курсив наш. – Е.В.).

¹⁹ *Ibid.*, с.5 (курсив наш. – Е.В.).

²⁰ Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.1 (курсив наш. – Е.В.).

²¹ Август Шлейхер (1863 [1864]), *op.cit.*, с.3 (курсив наш. – Е.В.).

²² Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.28 (курсив наш. – Е.В.); см. также с.30.

²³ *Ibid.*, с.48.

²⁴ Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.28.

и строении предложения – исторический период. Переход от первого периода ко второму осуществляется постепенно»²⁵.

Похожую точку зрения на развитие языков от изолирующих через агглютинативные к флективным можно найти и у Мюллера:

«Первый период, в котором каждый корень²⁶ сохраняет свою самостоятельность, и нет формального различия между корнем и словом, я называю *радикальным, коренным* периодом. Этот период лучше всего представляется в древнем китайском языке. Языки, принадлежащие к этому первому или радикальному периоду, иногда назывались *односложными* или *изолирующими*. Второй период, в котором два или более корней срастаются для образования слов, причем один удерживает свою самостоятельность, а другой ослабевает в простое окончание, я называю *терминационным, приставочным* [...] периодом. Этот период лучше всего представляется туранским²⁷ семейством, и языки, принадлежащие к нему, обыкновенно назывались *приклепными* (*agglutinative* от латинского слова *gluten* или *glutinum*, клей). Третий период, в котором корни срастаются так, что ни один из них не удерживает своей самостоятельности, я называю *флективным* периодом. Он лучше всего представляется арийским²⁸ и семитским семействами, и языки, относящиеся к этому периоду, иногда назывались *органическими* или *амальгамными*»²⁹.

Так же, как и Шлейхер, Мюллер противопоставлял «доисторический период» в развитии языка периоду «историческому»³⁰ (период «роста» vs «период упадка или обратного развития»³¹) и полагал, что синтетический строй предшествует в языковой эволюции аналитическому³².

²⁵ Август Шлейхер (1876 [1956]), *op.cit.*, с.90. О возможном влиянии теорий Вильгельма фон Гумбольдта на формирование этой части концепции Шлейхера, а также об отличиях во взглядах Гумбольдта и Шлейхера по данному вопросу см. Владимир Алпатов (1998), *op.cit.*, с.78-79.

²⁶ О понятии *корня* у Мюллера см. сноску 71. – *Е.В.*

²⁷ Как пишет Мюллер, «название туранского семейства употребляется в противоположность арийскому [см. следующую сноску. – *Е.В.*], и применяется к кочующим племенам Азии, в противоположность земледельческим или арийским расам. Туранское семейство состоит из двух больших отделов, северного и южного. Северный некоторые называли урало-алтайским или угро-татарским; оно разделяется на пять классов: тунгузский, монгольский, тюркский, финский и самоедский. Южный отдел, занимающий южную Азию, делится на четыре класса, тамульский или языки Декана; бготия или диалекты Тибета и Бготана; тайский или диалекты Сиамы, и малайский или малайские и полинезийские диалекты» (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.220). – *Е.В.*

²⁸ В девятнадцатом веке так могли называть либо индоиранскую ветвь индоевропейской семьи языков, либо (как в данном случае Мюллер [см. также Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.220 и др.]) – индоевропейскую семью в целом. – *Е.В.*

²⁹ *Ibid.*, с.218 (курсив автора. – *Е.В.*).

³⁰ Макс Мюллер, *Наука о мысли* (1887). Москва 2011, с.291.

³¹ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.75.

³² Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.375; см. также Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.247.

При этом, как пишет Шлейхер в одной из своих важнейших в теоретическом отношении работ *Немецкий язык*, как развитие, так и распад языков происходят по особым законам:

«Языковые роды находятся в процессе постоянного становления, своим происхождением они обязаны *закону развития*, проявляющемуся в жизни языков. [...] Так же, как развитие языков, их распад происходит по определенным *законам*, которые мы устанавливаем на основе наблюдений над языками, прослеживаемыми на протяжении столетий и тысячелетий»³³.

Словно вторя Шлейхеру, о «законах фонетической порчи» (в частности, «арийских» языков)³⁴ писал и Мюллер³⁵. Вообще, по мнению последнего, и «рост языка» «независим от произвола людей»³⁶ и управляется законами, которые можно открыть посредством тщательного наблюдения»³⁷, и «[ф]онетический упадок языка не есть результат чистой случайности; он управляется определенными законами»³⁸:

«Мы можем собирать [...] [языки] и группировать по известным, более или менее общим, признакам, можем разлагать их на составные элементы и выводить из них известные законы, которые объясняют их происхождение, управляют развитием, обуславливают их вырождение [...]»³⁹.

Как прямо следует из работы Шлейхера «Теория Дарвина в применении к науке о языке (публичное послание доктору Эрнсту Геккелю, э.о. профессору зоологии и директору Зоологического музея при Иенском университете)» (1863), понятие *закона* ученый переносит в лингвистику из биологии: «Законы, установленные Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах своих, и к организмам языков»⁴⁰. Вообще, по мнению

³³ Август Шлейхер (1869 [1956]), *op.cit.*, с.95 и 97 (курсив наш. – Е.В.).

³⁴ Ср. также выражение Мюллера «фонетическая болезнь» (языка) (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.35).

³⁵ *Ibid.*, с.161.

³⁶ В этой связи, см. выше о лингвистике как об одной из естественных наук, для Мюллера. – Е.В.

³⁷ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.54; ср. также Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.271 и упоминание Мюллером о «всеобщности принципов», управляющих «ростом» языка (*ibid.*, с.23).

³⁸ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.7; ср. также Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.242.

³⁹ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.1. Ср. также у него «законы, управляющие развитием и упадком языка» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.8).

⁴⁰ Август Шлейхер, (1863 [1864]), *op.cit.*, с.5. Об этом перенесении понятия *закон* в лингвистику из биологии историки языкознания также неоднократно писали (см., напр., Владимир Алпатов [1998], *op.cit.*, с.81; Николай Кондрашов [2004], *op.cit.*, с.61; Тамара Амирова, Борис Ольховиков, Юрий Рождественский [2005], *op.cit.*, с.357; Вилен Белый, *Американская дескриптивная лингвистика*, in В. Панфилов [отв.ред.], *Философские основы зарубежных направлений в языкознании*. Москва 1977, с.158-203; с.159; Владимир

историка лингвистики В. Алпатова, Шлейхер был «наиболее крупным из ученых», «отразивших», в частности, влияние Дарвина на языкознание⁴¹. Как признавался сам Шлейхер, «доказательства и взгляды Дарвина действовали на меня с особою силою именно потому, что я применил их к науке о языке»⁴². Подобно Шлейхеру, много о языке в связи с теориями Дарвина писал и Мюллер. Так, Дарвину (которого Мюллер называл «гением»⁴³) посвящены, в частности, многие страницы книги Мюллера *Наука о мысли. А в Лекциях по науке о языке...* Мюллер пишет следующее: «Меня обвиняли в том, будто я был руководим в моих исследованиях безусловною верою в общее происхождение человечества. Не отрицаю, что я этого мнения, и если для этого требуется подтверждение, то оно содержится в сочинении Дарвина “О происхождении видов”»⁴⁴. В дарвиновском же стиле рассуждал Мюллер и о «борьбе за существование» и о «естественном отборе» между теми многочисленными словами древних языков, которые могли отсылать к одному и тому же (с современной точки зрения) понятию⁴⁵. Что касается Шлейхера, он также писал о «естественном отборе» и о «борьбе за существование» – однако прежде всего не между словами одного языка, а между разными языками⁴⁶.

Как пишет В. Алпатов,

«попытка [Шлейхера] выявить на практике [...] конкретные законы создавала большие трудности: попытка втиснуть в рамки законов все изменения приводила к введению сложных правил со множеством исключений. Причину этого ученый пытался найти в искажающем влиянии письменных языков, предоставляющих лингвисту материал. А. Шлейхер, относивший письменные тексты к периоду “разложения” языков, считал, что в них нет “фонетических законов, действующих без исключений”, но верил, что такие законы можно обнаружить в народных говорах, “выше стоящих по развитию языка”»⁴⁷.

Именно это Шлейхер отмечал, в частности, в работе *Немецкий язык*:

«По отсутствию фонетических законов, действующих без исключения, вполне ясно заметно, что наш письменный язык не есть наречие, живущее в устах народа, или спокойное, беспрепятственное дальнейшее развитие более древней формы языка. Наши народные говоры обычно представ-

Звегинцев, *Натуралистическое направление в языкознании [А. Шлейхер]*, in В. Звегинцев [сост.] [1956], *op.cit.*, с.87-88, и т.д.).

⁴¹ Владимир Алпатов (1998), *op.cit.*, с.78.

⁴² Август Шлейхер, (1863 [1864]), *op.cit.*, с.2. В то же время, по мнению Шлейхера, «только основные черты воззрений Дарвина имеют применение к языкам. Область языков слишком различна от царств растительного и животного, чтобы совокупность рассуждений Дарвина до малейших подробностей могла иметь для нее значение» (*ibid.*, с.14).

⁴³ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.292.

⁴⁴ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.259, ср. также с.24.

⁴⁵ *Ibid.*, с.293, см также с.296. Мюллер полагал это одной из очевидных особенностей древних языков (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.337).

⁴⁶ См., напр., Август Шлейхер (1863 [1864]), *op.cit.*, с.13-14.

⁴⁷ Владимир Алпатов (1998), *op.cit.*, с.82.

ляются научному наблюдению как выше стоящие по развитию языка, более закономерные организмы, чем письменный язык»⁴⁸.

Аналогичным образом, полагал Мюллер, не только «закон и порядок существуют даже в изменениях тех языков, которые обыкновенно называются варварскими»⁴⁹, но и «[т]о, что мы называем языками, литературными идиомами Греции, Рима, Индии, Италии, Франции и Испании, скорее должно считать искусственными, нежели естественными формами речи. Действительная и естественная жизнь языка находится в его диалектах»⁵⁰; в случае же «литературных идиом», как считал Мюллер, на языки были «наброшены узда и поводья литературы»⁵¹:

«[В]се-таки санскритский, греческий, латинский, еврейский, арабский и сирийский языки составляют то, что натуралист несомненно назвал бы *выродками*, исключительными и противоестественными образованиями; языки эти не могут открыть нам того истинного характера, какой имел бы язык, если бы он был представлен самому себе и беспрепятственно и неуклонно шел, повинаясь своим собственным законам»⁵².

Напомним, что целью приезда персонажа новеллы «Локис» Виттенбаха в Литву был не только перевод на жемайтский язык⁵³ Евангелия, но и, через

⁴⁸ Август Шлейхер (1869 [1956]), *op.cit.*, с.98; см. также Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.14. Также и санскрит – литературный язык, – по мнению Шлейхера, имеет (по той же причине) меньшее значение для науки, чем «основной индийский язык» (*ibid.*, с.25). Тем не менее, как полагал, например, Мюллер (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.41), изучение законов санскрита будет для любого лингвиста прекрасной школой: «Раскрывая перед нами до последних мелочей те законы, которыми управляются изменения каждого звука, каждого ударения, он [санскрит] выработает в исследователе отличную сноровку и научит его ценить всякую мелочь в самых диких языках, какие только придется ему изучать» (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.41 [курсив наш. – Е.В.]).

⁴⁹ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.169.

⁵⁰ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.36.

⁵¹ *Ibid.*, с.42.

⁵² Макс Мюллер (1868 [1871]), *op.cit.*, с.10 (курсив автора. – Е.В.).

⁵³ В настоящее время *жемайтийским* называют скорее один из *диалектов* литовского языка (в одном из русских переводов Шлейхера речь шла о «жемайтском наречии» [Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.11]) – однако, следуя Мериме, мы будем употреблять, говоря о нем, слово *язык*. Впрочем, как писал сам Шлейхер, «[ч]то одни называют языком, то другие называют диалектом, и наоборот» (Август Шлейхер [1863 (1864)], *op.cit.*, с.9), «[р]азличие говора, диалекта и языка с определенностью невозможно установить» (Август Шлейхер [1876 (1956)], *op.cit.*, с.90). В самом деле, рассуждая, например, о «всеславянском словаре», ученый мог писать как о славянских «языках», так и о славянских «наречиях», подразумевая, с лингвистической точки зрения, одно и то же (Август Шлейхер, *Всеславянский словарь*, “Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Императорской Академии наук”, 1866, т.I, №2, с.1-5) – как, впрочем, и комментатор трудов Шлейхера И.И. Срезневский (Измаил Срезневский, *Несколько слов в дополнение к статье: «О трудах А.В. Шлейхера»*, “Записки Императорской Академии наук”, 1867, т.10, с.117-120). Также и в русских переводах Мюллера

его посредство, обучение неграмотных «самогитских крестьян» грамоте: «[...] главным препятствием к распространению грамотности является именно отсутствие книг. Когда у самогитских крестьян будет печатная книга, они захотят ее прочесть и научатся грамоте»⁵⁴. Получается, тем самым, что деятельность Виттенбаха, в терминах Шлейхера, состояла бы в искусственном провоцировании и без того неизбежного со временем «распада» жемайтийского языка.

Но если Шлейхера и интересовали в первую очередь законы эволюции человеческого языка в целом, часто размышлял он и о законах развития конкретных языков⁵⁵. Так, по мнению Шлейхера-компаративиста,

«[в]ерным критерием родства [языков] является прежде всего происхождение в каждом языке особым образом изменение общей с другими языками звуковой материи, посредством которой он отделяется как особый язык от других языков. Эту свойственную каждому языку и диалекту форму проявления общей для родственных языков звуковой материи мы называем характерными *звуковыми законами данного языка*»⁵⁶.

И далее:

«Посредством известных нам в сущности *законов*, по которым звуки изменяются в языках вообще и в наших языках в частности, мы можем действительно восстановить первобытный индо-германский язык из его потомков, на которые он разложился и которым служил основой»⁵⁷; «[п]о *закону*, господствующему в жизни языков, как это мы видим в позднейшей судьбе их [...], перемены, постоянно совершающиеся в языке, с течением времени уже происходят не во всех его частях равномерно. Такая перемена в языке наступает преимущественно тогда, когда говорящий им народ умножается и распространяется, так что одна часть его тогда живет уже под другими обстоятельствами, чем другая. Вследствие этого *закона*, и

слова «язык» и «нарекание» могли употребляться как синонимы (см., напр. Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.27 и др.).

⁵⁴ Проспер Мериме (1869 [1978]), *op.cit.*, с.272-273.

⁵⁵ По мнению В. Алпатова, «именно А. Шлейхер дал общую формулировку закона в языкознании», и даже «компаративисты следующего поколения – младограмматики» (мало интересовавшиеся общепрофессиональными проблемами языкознания и работавшие в основном с материалом конкретных языков. – Е.В.) «восприняли» «его [...] понятие языкового закона» (Владимир Алпатов [1998], *op.cit.*, с.81 и 82). Что касается законов конкретных языков, в работах Шлейхера говорится (ограничимся лишь отдельными примерами) о законах литовского языка (Август Шлейхер [1865], *op.cit.*, с.6) и латышского (как «отрасли древнелитовского») (*ibid.*, с.12); о законах славянских языков (*ibid.*, с.16, 17, 19 и 20) – в частности, о разных (в зависимости от разных групп) результатах изменений праславянских **dl*, **dn* (*ibid.*, с.8) и **tj*, **dj* (*ibid.*, с.10); о законах в готском языке (*ibid.*, с.13 и 53) и о «законности движения гласных по их рядам (Гриммов Ablaut)» в немецком (*ibid.*, с.53); о законах в «индийских» языках (*ibid.*, с.25) и т.д. В целом же Шлейхер писал о законах развития отдельных языков так много, что эта тема потребовала бы специального большого исследования с участием не только историков лингвистики, но и специалистов по сравнительно-историческому языкознанию.

⁵⁶ Август Шлейхер (1869 [1956]), *op.cit.*, с.94 (курсив наш. – Е.В.).

⁵⁷ Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.33 (курсив наш. – Е.В.).

первобытный индо-германский язык постепенно изменялся оттого, что одна часть его отделялась от другой. А так как различие отделившихся языков друг от друга должно быть тем больше, чем дольше они уже существуют в качестве самостоятельных языков, то в степени различия между ними или, что одно и то же, в большей или меньшей особенности их развития, мы имеем средство определять относительную древность их отделения друг от друга»⁵⁸.

Мюллер также полагал, что «сравнительная грамматика» «есть взаимное сравнение грамматических форм языков, считавшихся родственными между собою, причем это взаимное сравнение совершалось *сообразно известным законам*, управляющим фонетическими изменениями»⁵⁹; вообще же, по мнению ученого, «*законы фонетической перемены*» суть «единственное верное средство для измерения различных степеней сродства родственных диалектов и для восстановления генеалогической родословной человеческой речи»⁶⁰. Именно поэтому, например, писал Мюллер,

«[м]ы знаем, что известные слова, имеющие одни и те же звуки и одинаковое значение в языках санскритском, греческом, латинском и немецком, не могут быть тождественны, потому что это нарушило бы *фонетические законы*, которые внесли столь глубокое различие между этими языками»⁶¹.

Как утверждал, кроме того, Шлейхер,

«[м]ы познаем *законы*, по которым происходит изменение языка, на основе наблюдений над языками, развитие которых мы можем проследить в исторический период на протяжении столетий и даже тысячелетий. Применяя установленные таким путем *законы изменения языков*, мы продлеваем историю языков в доисторические времена»⁶².

И если, по мнению В. Алпатова, «[р]азвитие языков, согласно А. Шлейхеру, происходит по законам, не имеющим исключений»⁶³, Мюллер полагал, что «[к]ак в других науках, так и в языкознании закон не нарушается исключениями, для которых можно привести разумное объяснение, но напротив того, он ими подтверждается»⁶⁴. Даже *аналогию* – как правило, чаще всего объясняющую отклонения от ожидаемых результатов действия звуковых законов в том или ином языке, – Мюллер, вслед за цитируемым им французским философом В. Кузенем (Cousin), полагал особым *языковым законом*: «[А]налогия заставляет его [человека] связывать знаки, которых он ищет, с известными ему уже знаками,

⁵⁸ *Ibid.*, с.47 (курсив наш. – Е.В.).

⁵⁹ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.127 (курсив наш. – Е.В.).

⁶⁰ *Ibid.*, с.126 (курсив наш. – Е.В.).

⁶¹ Макс Мюллер (1868 [1871]), *op.cit.*, с.40 (курсив наш. – Е.В.).

⁶² Август Шлейхер (1869 [1956]), *op.cit.*, с.94 (курсив наш. – Е.В.).

⁶³ Владимир Алпатов (1998), *op.cit.*, с.81.

⁶⁴ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.205.

ибо аналогия есть закон всякого возрастающего или уже развившегося языка»⁶⁵ (хотя в данном случае речь не идет еще эксплицитно об *анalogии* в связи со *звуковыми законами*).

Вообще же, что касается Мюллера, то для него уже само начало формулировки законов тех или иных явлений знаменует наступление нового – высшего («теоретического или метафизического»⁶⁶, следующего за «эмпирическим» и за «классифицирующим»⁶⁷ этапами) этапа в развитии любой *естественной науки*:

«Станем замечать те звуковые изменения, которым подвергается одно и то же число [языковых соответствий] у различных племен; это приведет нас к звуковым законам, которые, в свою очередь, устранят кажущееся несходство в других словах, на первый взгляд не имеющих ничего общего между собою»⁶⁸; «[м]ы вступаем тогда совершенно в новый круг знания, где частное подчинено общему, явление *закону*: мы открываем мысль, порядок и цель, проникающие всё царство природы, мы чувствуем, что темный хаос материи озарен отражением божественного духа. [...] Если человеческий ум однажды проникся убеждением, что всюду должен существовать *порядок и закон*, то он уже не успокоится, пока не устранил всего, по-видимому, неправильного, пока не заметит полной красоты и гармонии природы [...]. Таким образом второй или классифицирующий период [развития любой естественной науки] естественно приводит нас к третьему или последнему – теоретическому или метафизическому. Если работа классификации исполнена надлежащим образом, она научает нас, что ничто в природе не существует случайно, что каждый индивидуум принадлежит особому виду, каждый вид особому роду, и что существуют законы, которым подлежит видимая свобода и разнообразие всех созданных организмов»⁶⁹.

И хотя, как и Шлейхер, Мюллер порой писал, например, о звуковых законах развития конкретных *языков*⁷⁰, а также о звуковых законах как таковых⁷¹, гораздо больше в его работах говорится о законах развития *человеческого языка* в целом:

⁶⁵ В. Кузен, цит. по: Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.332; об аналогии у Мюллера см. также *ibid.*, с.244. Об *анalogии* писал и Шлейхер (ср. у него «звуковые законы и господство аналогий» [Август Шлейхер (1865), *op.cit.*, с.12] и т.д.).

⁶⁶ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.13.

⁶⁷ *Ibid.*, с.11 и 13. Как пишет далее Мюллер, эти три этапа соответствуют «детству, юности и зрелости каждой из естественных наук» (*ibid.*, с.57). Однако «были случаи, [...] когда результаты, собственно относящиеся к третьему периоду, были упреждены в первом. Для проницательного взора гения один случай может быть подобен тысячи, и один, удачно избранный опыт может повести к открытию непреложного закона» (*ibid.*, с.15, см. также с.58). О связи же второго и третьего этапов см. следующее суждение Мюллера: «То только может быть классифицировано, то лишь доступно научной регламентации и порядку, что в развитии своем следует естественному пути, подчинено рациональному закону» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.7).

⁶⁸ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.26.

⁶⁹ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.11-12 и 13 (курсив наш. – *Е.В.*).

⁷⁰ *Ibid.*, с.187; Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.254; Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.251-252, 268 и дал.; см. также упоминаемые Мюллером «ирландские

фонетические законы» (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.186), законы развития романских языков (*ibid.*, с.47-48; Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.262), законы греческого языка (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.281-282) или еще «гриммовский закон» или «Гриммов закон» (Макс Мюллер [1887 (2011)], *op.cit.*, с.280; Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.206, 276 и 278; Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.26, 92, 346 и дал.). Кажется, последний закон был единственным, называемым Мюллером «по имени», – хотя порой ученый и брался воспроизводить его безо всякого упоминания имени Гримма (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.86-87 и 270). «Гриммову закону» посвящена даже отдельная (пятая) лекция в *Новом ряду чтений Макса Мюллера в Великобританском Королевском Институте в феврале, марте, апреле и мае 1863 г.* (*ibid.*, с.191-213) – цикле лекций, где слово *закон* в целом употребляется уже значительно чаще, чем в предыдущих лекциях Мюллера (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*), отражая, очевидно, приближение младограмматической эпохи в лингвистике. Кроме того, сам Мюллер «в предисловии к немецкой обработке своего первого курса лекций (1861 г.), обещал “в новом курсе чтений о языковедении развить в частности те общие законы изменений звука и понятия,” из которых складывается жизнь языка, и которые были слегка лишь очерчены в первом курсе» (Дмитрий Лавренко, [*Предисловие переводчика*], in Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.I-II; с.I) (курсив наш. – Е.В.). Обещание это Мюллер сдержал.

Именно в связи с законом Гримма писал Мюллер о словах-звукоподражаниях, которые не подвластны звуковым законам развития языка (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.275). Вообще же, по мнению Мюллера, «почти все открытия, сделанные относительно законов языка, [...] должны быть приписаны ученым, которые трудились на почве арийских и семитических языков» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.8). При этом «[д]о известной степени, метод, увенчавшийся блестящими результатами при классификации арийских языков, может быть прилагаем и к другим группам языков. Звуковые законы всегда удобоприложимы, но они не единственные орудия, к овладению которыми языковед должен развить в себе навык» (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.25).

⁷¹ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.173; Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.100, 170, 240 и др. Как полагал Мюллер, «управляющие [...] [фонетическими] изменениями законы положительно основаны на физиологических причинах»: «Есть звуковые изменения, происходящие в одном и том же языке, или в наречиях одной семьи языков, которые оказываются просто следствиями вялости или лени. [...] В этом-то и состоит главная причина звуковой порчи в языке. [...] и эту причину я просто считаю недостатком мышечной энергии» (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.171). Ср. также: «[Ф]онетическая порча всегда есть следствие мышечной вялости» (*ibid.*, с.179). Иначе говоря, речь для Мюллера идет о принципе «звуковой экономии» (*ibid.*, с.186) как главной причине фонетических изменений в языке.

В связи с темой звуковых законов кажется заслуживающим внимания еще и следующее. По мнению Мюллера, практически все слова всех языков («за исключением известного числа чисто мимических выражений») восходят к первичным «корням» (Макс Мюллер [1887 (2011)], *op.cit.*, с.128-129, см. также с.152). (Под «корнями», или «радикалами», «в словах языка или семейства языков» Мюллер понимал «все то, чего нельзя привести к более простой или более первобытной форме» [Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.191: так, например, «многие сотни тысяч слов, заключающихся в словарях всех других (помимо английского. – Е.В.) арийских языков, могли быть сведены, приблизительно, к 500 корней, да и это незначительное количество корней допускает еще сокращение» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.35)]. А вот – для сравнения – определение *корней* у Шлейхера: «[У]потребляя форму уподобления, я могу назвать корни простыми

«Мы хотим знать не языки, а язык; что он есть, каким образом он может образовать средство или орган мысли; мы хотим узнать его происхождение, свойства, законы; и только для достижения этого знания мы собираем, приводим в порядок и классифицируем все доступные нам факты языка»⁷².

В частности, языковые законы интересовали Мюллера в связи с развитием человеческой мысли: Мюллер полагал, что язык и разум («мысль») не только «неразлучны»⁷³, «нераздельны»⁷⁴, не только «безраздельно соединены»⁷⁵ и «идут рука об руку»⁷⁶, но, по сути, представляют собой одно и то же: «[Я]зык [...] есть только другое название разума»⁷⁷ (как писал в этой же связи Шлейхер, «[ч]то такое язык? Популярное определение – язык есть мышление, выраженное звуками, – абсолютно правильно»; «мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма»⁷⁸). Именно поэтому Мюллер писал о «законах мысли»⁷⁹,

клеточками языка, у которых для грамматических функций, каковы имя, глагол и т.д., нет еще особых органов и у которых самые эти функции [грамматические отношения] столь же мало различны, как, например, у одноклеточных организмов или в зародышном пузырьке высших живых существ дыхание и пищеварение. Мы принимаем, таким образом, для всех языков по форме одинаковое происхождение» [Август Шлейхер (1863 [1864]), *op.cit.*, с.11].) Как полагал при этом Мюллер, «[в]озводя слово к его корню, мы должны [...] руководствоваться известными звуковыми законами» (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.292 [курсив наш. – Е.В.]). Кроме того, по мнению Мюллера (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.164), «[с] каждым днем мы более знакомимся с таинственными путями языка, и нет причины сомневаться, что грамматический анализ, наконец, будет иметь такой же успех, как химический» (о языкознании как о естественной науке, для Мюллера, см. выше) – и это при том, что «грамматика, которая должна бы быть самой логичною из всех наук, часто бывает самой нелогичною» (*ibid.*, с.166). Одновременно Мюллер возражал против теории происхождения языка от междометий и от звукоподражаний: по его мнению, именно звуковые законы позволяли предложить по крайней мере одну из альтернативных этим теориям концепций (Макс Мюллер [1887 (2011)], *op.cit.*, с.150-151) – а именно, его собственную «корневую» теорию (см. также Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.91-94 и дал.) (о языковых законах у Мюллера в связи с его рассуждениями о конкретных «корнях» см., напр., *ibid.*, с.301).

Упомянем здесь же и один довольно необычный «закон», о котором пишет Мюллер: «Существует закон, общий почти для всей живой природы, по которому все существующее имеет свой звук» (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.294-295). Или еще: «Все, что жило в языке в древнейшую пору его зарождения, существует в нем и в настоящее время» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.32).

⁷² Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.17 (курсив наш. – Е.В.).

⁷³ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.394 и 420.

⁷⁴ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.148.

⁷⁵ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.474.

⁷⁶ *Ibid.*, с.383.

⁷⁷ *Ibid.*, с.84. Это позволило Мюллеру утверждать, что «всякая философия, основанная на тождестве языка и мысли, выдержит всякое испытание» (*ibid.*, с.396).

⁷⁸ Август Шлейхер (1869 [1956]), *op.cit.*, с.92 и 96.

⁷⁹ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.30, 215 и 474.

о «законах человеческого мышления»⁸⁰ – «законе ассоциации»⁸¹, «законе причинности»⁸², «законах индукции», «законах гипотезы»⁸³, настаивая также и на том, что «[о]бщие понятия образуются не случайно, не произвольно, а по законам»⁸⁴. По его мнению, именно открытие языковых законов может «привести к высшим законам, управляющим органами как человеческой мысли, так и человеческого голоса»⁸⁵.

2. Виттенбах (Проспер Мериме) о законах языков

Контекст, в котором «языковые законы» упоминаются в новелле «Локис», отсылает не к развитию человеческого языка в целом, но к отдельным языкам. Так, что касается конкретных «законов перехода санскрита в литовский язык», о которых рассуждает Виттенбах – персонаж Мериме, это выражение требует отдельного комментария, так как отражает одну из особенностей развития сравнительно-исторического языкознания в девятнадцатом веке.

Вообще об отношении литовского языка к санскриту профессор Виттенбах говорит неоднократно: по его мнению, жемайтский язык, «может быть, еще более приближается к санскриту, чем верхнелитовский»⁸⁶; профессор пересматривает «литовские неправильные глаголы, стараясь в санскрите найти причины их различных неправильностей»⁸⁷; наконец, Виттенбах говорит о «законах [законе] перехода санскрита в литовский язык»⁸⁸. Это последнее суждение может создать у читателя впечатление, что санскрит выступает в новелле – в устах профессора Виттенбаха – как праязык всей индоевропейской семьи языков, к которой принадлежит и литовский. Одно время эта точка зрения и впрямь господствовала в лингвистике, однако уже Шлейхер понимал, что санскрит был не индоевропейским праязыком, а одним из древнейших представителей одной из ветвей индоевропейской языковой семьи (так, басня, составленная Шлейхером на «индоевропейском языке»⁸⁹, была написана очевидно не на санскрите). Следовательно, литовский язык не мог быть непосредственно возведен к санскриту.

⁸⁰ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.259. Ср. также «законы мышления» (Макс Мюллер [1868 (1871)], *op.cit.*, с.13).

⁸¹ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с.25 и 189.

⁸² *Ibid.*, с.112.

⁸³ Ср., напр.: «Дарвин никогда не претендовал на то, что его учение доказано. Он был связан не законами индукции, а законами гипотезы» (*ibid.*, с.67).

⁸⁴ Макс Мюллер (1863 [1866]), *op.cit.*, с.292.

⁸⁵ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.54.

⁸⁶ Проспер Мериме (1869 [1978]), *op.cit.*, с.261.

⁸⁷ *Ibid.*, с.270.

⁸⁸ *Ibid.*, с.309.

⁸⁹ Август Шлейхер, *Басня, составленная А. Шлейхером на индоевропейском праязыке* (1868), in В. Звегинцев (сост.) (1956), *op.cit.*, с.104.

Сам Мериме в одном из писем, датированных 1868 годом, утверждал, что «[в Литве] говорят почти на чистом санскрите»⁹⁰, подразумевая под этим «древность» литовского языка. По мнению комментаторов Мериме, сближая жемайтский язык с санскритом, Мериме заблуждался, но опирался он при этом на работы Мюллера, у которого можно прочесть, будто «в [...] языке, на котором говорит литовский крестьянин, встречаются грамматические формы, более древние и более сходные с санскритскими, нежели соответствующие им формы в греческом и латинском языках»⁹¹. Если при этом имеется в виду, что Мюллер отождествлял санскрит с праязыком индоевропейской языковой семьи, то это не так: как пишет ученый, «санскрит не находится в тех отношениях к греческому, латинскому, тевтонским, кельтскому и славянским языкам, как напр. латинский к французскому, итальянскому и испанскому. Санскрит [...] не мог называться их отцом, но только их старшим братом»⁹². Впрочем, по мнению Мюллера, уже Вильяму Джоунзу, открывшему санскрит для европейской науки о языке, это было совершенно ясно⁹³. (Вообще же, как считают Ж. Мальон и П. Саломон⁹⁴, мюллеровскую идею сближения литовского с санскритом Мериме впоследствии будет считать неверной и по этому поводу в одном из писем напишет: «Я сильно боюсь, что [...] Макс Мюллер неправ. Напрасно я ему доверился, ведь баскский язык он относит к арийским»⁹⁵.) Если вспомнить теперь «законы перехода санскрита в литовский язык» из новеллы Мериме, то Мюллер (*не* считавший, как мы видели, санскрит индоевропейским праязыком) полагал также, что к санскритским формам могут быть «приведены» и некоторые греческие⁹⁶. Кроме того, в работах Мюллера можно найти рассуждения о законах, устанавливающих соответствия между «санскритским» и греческим⁹⁷ – что означает, вероятно, что и в новелле Мериме «законы перехода санскрита в литовский» следует интерпретировать скорее как «законы/соответствия между санскритом и литовским», а не как «законы, отражающие изменения санскрита в литовский».

Что же касается второго упоминаемого в новелле «Локис» языкового закона («по которому приставка сообщает славянским глаголам значение будущего времени»), речь идет уже не о законе в диахронии, а о закономерности синхронического порядка. В этом контексте слово *закон* употреблялось лингвистами девятнадцатого века значительно реже – однако отдельные примеры такого упо-

⁹⁰ Prosper Mérimée, *Correspondance générale*, vol. I-XVII. Paris / Toulouse, 1941-1964; vol. XIV, p. 233.

⁹¹ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с. 148 (см. Jean Mallion, Pierre Salomon, *Lokis. Notes et variantes*, in Prosper Mérimée [1978], *op.cit.*, p. 1621-1648; p. 1631).

⁹² Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с. 126; см. также с. 157, 161, 177, 178 и т.д. В последних своих лекциях о языке Мюллер не только возвращается к метафоре «санскрит – старший брат» (в частности, греческого и латыни) (Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с. 383), но и называет санскрит «самым древним из арийских языков» (*ibid.*, с. 298).

⁹³ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с. 119.

⁹⁴ Jean Mallion, Pierre Salomon (1978), *op.cit.*, p. 1631.

⁹⁵ Prosper Mérimée (1941-1964), *op.cit.*, vol. XVI, p. 440. О баскском языке у Мериме и у Шлейхера – Мюллера см. Екатерина Вельмезова (2010), *op.cit.*, с. 204-205.

⁹⁶ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с. 174.

⁹⁷ Макс Мюллер (1887 [2011]), *op.cit.*, с. 280.

требления можно найти у того же Мюллера, который, в частности, полагал, что для «туранских языков» «существует так называемый закон созвучия, по которому гласные каждого слова могут изменяться и произноситься так, чтобы они гармонировали с основным тоном, затронутым его главной гласной»⁹⁸.

Как можно видеть, если под какими-то высказываниями персонажа Виттенбаха о языке могли бы подписаться как Шлейхер, так и Мюллер⁹⁹, интерес последних именно к законам развития человеческого языка («организма») в целом – в отличие от законов эволюции конкретных языков – в новелле «Локис» отражения не получил.

August Schleicher, Max Müller and... Prosper Mérimée about linguistic laws

The notion of law was one of the rarest linguistic concepts to be reflected in literature – in particular, in P. Mérimée's short story "Lokis" (1869). Well known linguists August Schleicher and Max Müller were the main prototypes of one of its characters, professor of comparative linguistics Wittembach who, in particular, spoke several times about linguistic laws. Analyzing the text of this short story together with Schleicher's and Müller's linguistic theories, we show that if both linguists could be the authors of some Wittembach's linguistic judgments, their interest in the *laws of human language evolution in general* (as opposed to the *laws of development of particular languages*) was not emphasized by Mérimée in his last and "most linguistic" short story.

⁹⁸ Макс Мюллер (1861 [1865]), *op.cit.*, с.224 (речь очевидно идет о сингармонизме. – Е.В.).

⁹⁹ Недаром некоторые историки лингвистики полагают Мюллера языковедом, по взглядам наиболее близким Шлейхеру (Владимир Алпатов [1998], *op.cit.*, с.82; Тамара Амирова, Борис Ольховиков, Юрий Рождественский [1975], *op.cit.*, с.355-356 и т.д.). Мюллер не просто цитировал Шлейхера (см., напр., Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.35, 89, 140, 148-149 и 299; Макс Мюллер [1863 (1866)], *op.cit.*, с.253 и др.), но и считал его (Макс Мюллер [1887 (2011)], *op.cit.*, с.121) «одним из наших лучших ученых по языкознанию». Кроме того, помимо прочих общих моментов их теорий, о которых уже шла речь выше, Мюллер также пользовался некоторыми «ботаническими» метафорами (в этой связи ср. хотя бы метафору генеалогического древа языков у Шлейхера [Август Шлейхер (1876 [1956]), *op.cit.*, с.91] – помимо множества других его «ботанических» и «зоологических» метафор, упомянуть все из которых в рамках одной статьи невозможно) – возможным параллелизмом между классификациями языков и разных видов цветковых растений (Макс Мюллер [1861 (1865)], *op.cit.*, с.253) или же параллелизмом между разными видами слов и искусственными vs живыми цветами (*ibid.*, с.275) (ср. также его [риторический] вопрос: «Выросли ли склонения и спряжения подобно цветкам на дереве?» [*ibid.*, с.86] или его идею сбора «полного гербария языков человечества» [*ibid.*, с.101]) и т.д.

АНДРЕЙ ДОБРИЦЫН
(Лозанна)

РЕПЛИКА О ЗАКОНАХ И ИСКЛЮЧЕНИЯХ В ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Настоящая заметка возникла как реплика на некоторые тезисы, прозвучавшие в докладах лозаннской конференции о законах в лингвистике и литературоведении.

Понятие *закона* ассоциируется прежде всего со сферой точных и естественных наук, но без него невозможно обойтись и в гуманитарных дисциплинах. Понятие *закона* применяется не только в точных и естественных науках, но и в сфере гуманитарных исследований. При этом смысл его несколько различен в филологии, в литературоведении и в разных разделах науки о языке.

На основании фонетических законов лингвисты восстанавливают дописанное состояние языка, реконструируют праязыки, расшифровывают древние надписи. Если отдельные формулировки оказываются неточными, их корректируют, но в наличии самих языковых законов никто не сомневается.

Иное дело в дисциплинах, изучающих литературу, начиная с исследований ее языка. С одной стороны, каждый автор подчиняется общезыковому закону (например, он не в силах изменить систему фонологических оппозиций), и большинству литераторов даже в голову не приходит, что против них можно бунтовать. Порою все же такой бунт входит в моду, и мы наблюдаем попытки «преодолеть лингвистические законы». Но возможен ли в принципе такой выход за границы собственно языка? И как квалифицировать результаты таких попыток? Можно ли полагать, что тексты Хлебникова или Крученых остаются в пределах русского языка, что они расширяют эти пределы, что они отчасти уже вне их? Где граница между нарушением общепринятой языковой нормы и нарушением языкового закона?

Представляется, что языковым законом следует считать именно такое ограничение, которое невозможно нарушить (как нельзя нарушить закон природы). Похоже, однако, что лингвисты и филологи будут по-разному понимать это самое «невозможно». Лингвисты обычно подразумевают под невозможными конструкциями те, которые никогда не встречаются в естественной речи (вклю-

чая диалектную, просторечие и т. п.). Но какая угодно конструкция «под звездочкой» может быть намеренно включена в литературное произведение. Повидимому, именно эта способность языка литературы (поэтического языка в широком смысле) порождать или усваивать почти любые языковые аномалии и определяет принципиальную разницу между ним и «естественным» языком.

Значимые отклонения от нормы встречаются и в относительно консервативные в лингвистическом отношении эпохи, достаточно вспомнить многочисленные *licentia poetica*, неправильности Гоголя, деформации Лескова и Платонова и многое другое. Чисто языковые претензии встречаются почти во всех критических заметках во французских альманахах восемнадцатого столетия, и даже во второй половине девятнадцатого века Андре Шенье продолжали упрекать за неправильный язык (точнее, за отклонения от общепринятого узуса сочетаемости).

Значит ли это, что в поэтическом языке нет никаких законов?

Здесь мы подходим к важной разнице в предметах лингвистики и филологии. Вспомним, что одно из существенных различий, которые Аристотель находил между риторикой, философией и историей, состояло в их отношении к общему и частному (*Rhet.* 1355b, 1357a; *Poet.* 1451b5-b10). Аналогично, можно заметить, что лингвистика изучает общее (уже сам язык, по определению, *общее* средство, потому и возможна коммуникация), а филология, по своей специфике – частное, индивидуальное и даже сингулярное.

Чтобы формулировать законы и правила, нужно иметь некоторое множество объектов, к которым они применимы. Эти объекты различны, но имеют достаточно общего, чтобы объединить их в класс и называть одним термином (*роман, роман воспитания, сонет, романтическая баллада, главный персонаж, любовный треугольник...*). Это означает, что мы создаем модель объекта – некий фиктивный объект, «типичный представитель» класса, обладающий характеристическими свойствами, определяющими его принадлежность к классу. То есть моделирование возможно при наличии множества сходных объектов, с целью установить их общие черты, в частности, общие для них законы. Каждый элемент множества имеет собственную «индивидуальность», выделяется какими-то особенностями, но при моделировании ими пренебрегают, интересуясь только теми чертами, которые определяют принадлежность элемента к классу¹.

Парадоксальным образом, «точные науки» могут отвлекаться от деталей и оперировать приблизительными (по определению) моделями, ибо в этих науках известно, чем можно пренебречь, а чем нельзя. Филология же занимается уникальными объектами, поэтому каждая деталь может оказаться существенной, и априори невозможно утверждать малую значимость даже мелких особенностей правописания.

В качестве примера приведу орфографическую ошибку, несколько раз допущенную юным Пушкиным и убедительно объясненную И.А. Пильщиковым и М.И. Шапиром. В списках «Тени Баркова» есть стих *Прокляты Оливскимъ*

¹ Моделирование также может оказаться необходимым и при исследовании индивидуальных особенностей, чтобы выделить индивидуальное на фоне общего. Но зачастую такие модели усредненного объекта не строятся специально, а даются как очевидность.

богомъ, причем под *Фивским богомъ* автор понимает Аполлона; кроме того, в произведениях лицейского периода Пушкин шесть раз из семи написал имя Феб через фиту (*Фебъ*), а не через ферт, как требовала орфография, основанная на этимологии. Неверное написание объясняется тем, что Пушкин опирался на собственную окказиональную фантастическую этимологию, выводящую имя Феба из названия города Фивы. Такой ошибки не делал никто из потенциальных создателей «Тени», кроме Пушкина, поэтому она оказывается важной уликой при установлении авторства этой поэмы². Ясно, что подобное рассуждение никак нельзя обобщить в виде закона, ибо мы имеем дело с уникальным событием. Но если сингулярные случаи, накапливаясь в большом количестве, обнаруживают сходство, становится возможным сформулировать пусть не закон, но хотя бы правило предпочтения (вроде известного в текстологии *lectio difficilior potior*).

Здесь уместно напомнить о фундаментальном различии законов, имеющих теоретическую (догматическую) и эмпирико-историческую природу. Отличие высказываний «исторического характера» от теоретических ясно сформулировано в обстоятельной работе М.И. Шапира, напечатанной вместо послесловия к изданию *Методологии точного литературоведения* Б.И. Ярхо:

«Под теоретическими, или “строго универсальными”, высказываниями вслед за К. Поппером [...] я понимаю “высказывания о несуществовании”, описывающие открытый класс эмпирических объектов (универсальное суждение *Все S суть P* равнозначно суждению *Не существует S, которое не есть P*) [...] под историческими, или “строго экзистенциальными”, высказываниями понимаются высказывания о существовании (*Некоторые S суть P* равнозначно суждению *Существует хотя бы одно S, которое есть P*). Таким образом, точные методы в гуманитарной сфере позволяют сказать лишь о том, что бывает, а точные методы в сфере естественных наук – еще и о том, чего быть не может»³.

Теоретический закон выводится «из первых принципов» и по определению не знает никаких исключений. Он имеет, разумеется, ограниченную область применимости, но из этого не следует, что объекты, не входящие в сферу его применимости, являются «исключениями». Например, если закон всемирного тяготения неприменим к падежам или сонетам, это не значит, что падежи и сонеты представляют собой исключения из него. Кроме того, следует помнить, что многие объекты подпадают сразу под несколько законов, поэтому тот факт, что птицы не падают, как камни, также не означает, что они являются исключениями из закона всемирного тяготения, – просто они находятся еще и в поле действия законов аэродинамики.

² Игорь Пильщиков, Максим Шапир, *Еще раз об авторстве баллады Пушкина «Тень Баркова»*, «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка», 2005, т.64, №3, с.41–52.

³ Максим Шапир, «Тебе числа и меры нет»: *О возможностях и границах «точных методов» в гуманитарных науках*, in Б. Ярхо, *Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы*, издание подготовили М. Акимов, И. Пильщиков, М. Шапир, под общей редакцией М. Шапира, [“Philologica russica et speculativa”, Т.V]. Москва 2006, с.875–905; с.880.

Об исключении можно говорить, только если найден объект, который вроде бы и входит в область применимости закона, но по непонятной причине закон для него не выполняется. Обнаружение таких случаев говорит о необходимости перестроить теорию так, чтобы в новой теории подобных «исключений» уже не было. Иными словами, наличие исключения отменяет закон целиком, по крайней мере, заставляет искать более корректную его формулировку.

Поскольку теоретический закон формулируется для теоретических объектов и ситуаций, которые на практике реализуются с некоторыми отклонениями, то и выполняется в реальности он лишь в некотором приближении (что не отменяет его абсолютности, в смысле отсутствия исключений).

Закон в эмпирико-историческом смысле и в смысле теоретическом можно считать омонимами.

Представим, что существует ограниченное число объектов, объединенных в класс, и для многих из них наблюдается некое сходство, позволяющее сформулировать дескриптивное правило поведения. Если правило распространяется на подавляюще большую часть рассматриваемого класса, его часто называют законом. Он формулируется обычно для класса объектов, ограниченного во времени и пространстве, и зачастую имеет статистический характер (пример: открытый К.Ф. Тарановским закон регрессивной акцентной диссимилиации для русских ямбических и хореических стихов восемнадцатого – двадцатого веков). Если мы обнаруживаем не известные ранее объекты, которые по всем признакам должны входить в рассматриваемый класс (например, находим рукопись с неизвестными нам стихами), мы не можем заранее утверждать, что закон Тарановского будет для них выполняться.

Если явление входит в сферу действия эмпирического закона, но закон для него не выполняется, оно квалифицируется как исключение, а закон остается неизблемым (до тех пор, по крайней мере, пока количество исключений не начинает угрожать его статистической обоснованности). В статистических законах собственно исключений нет, есть лишь индивидуальные отклонения от среднего.

Кроме того, многие «закономерности» суть не что иное как следствие соблюдения прескриптивных правил. Постоянное ударение в конце стиха или редкость переакцентуаций в русской силлабо-тонике – не проявление каких-то законов, но лишь результат следования правилам версификации.

Действительность законов природы не зависит от времени и места (следствие однородности времени и пространства), и в этом смысле они являются «вечными и всеобщими». Действие же, например, лингвистических законов ограничено определенными эпохами и территориями: сначала в прагерманском происходит первое передвижение согласных, через много веков в части германских диалектов происходит второе передвижение; законы, приведшие к превращению латинского *oculum* во французское *oeil*, уже не действовали, когда было заимствовано прилагательное *oculaire*, поэтому оно и сохранило почти латинскую форму и т. п. Тем не менее, в некотором смысле лингвистические законы ближе к теоретическим, чем к чисто эмпирическим. Скажем, исключения из закона Гримма не считались следствием статистического разброса, и потому были предприняты более или менее успешные попытки объяснить их действием конструирующих законов. То есть наличие исключений стало причиной дотраи-

вания и углубления теории. С другой стороны, фонетические законы не удается пока вывести из «первых принципов», из малого количества достоверных предпосылок.

Существуют объекты, занимающие промежуточное положение между языковыми конструкциями и литературными текстами. Это фольклорные тексты: с одной стороны, они допускают вмешательство пересказчика, приводящее к их вариативности, с другой стороны, вносимые пересказчиком изменения не могут быть слишком велики. В результате эволюция фольклора оказывается в некотором отношении аналогична языковой, а некоторые фольклорные жанры допускают описание, приближающееся к естественнонаучному или лингвистическому. Формула Проппа претендует на полное описание строго определенного класса объектов (русской волшебной сказки), а кажущиеся исключения устраняются с помощью специального истолкования, приводящего сюжет «неудобной» сказки к стандартной последовательности функций. В результате формулу Проппа можно рассматривать не как утверждение о жанре, а как определение жанра. Поэтому критики Проппа, пытающиеся, ради более широкой применимости, «обогащать» его теорию введением «точек бифуркации» (Клод Бремон) или размытием порядка следования функций, на самом деле ее обесмысливают.

Установление более или менее близких аналогий между фольклорной сказкой и литературным произведением может быть интересным и полезным, но никакого детализированного содержательного аналога формулы Проппа для новеллы или поэмы не может существовать ввиду их очень большой индивидуальной вариативности. Слишком же общие жанрово-сюжетные схемы мало информативны (Курт Воннегут высмеял их в пародийной теории «Man in Hole»: «Somebody gets into trouble and gets out of it»)⁴.

В поэтическом языке, похоже, не может быть теоретических законов, не знающих исключений, но могут быть обнаружены эмпирические статистические законы, справедливые для ограниченного корпуса текстов.

Once again about the laws and exceptions in language sciences

The article deals with the possibility of using the notions of law and exception in human sciences. Differences between theoretical, empirical and statistical laws in linguistics and philology are analyzed in connection with their attitude to the general and individual phenomena.

⁴ Разумеется, классическая трагедия имеет свою нормативную схему, но такие схемы сами по себе далеко не достаточны для определения жанра.

АНАСТАСИЯ ДЕ ЛЯ ФОРТЕЛЬ
(Лозанна)

ЗАКОНЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Для обозначения двух различных, с эпистемологической точки зрения, направлений в изучении литературы в русском языке существует, как известно, два четко противопоставляемых термина – с одной стороны, *литературная критика* и, с другой стороны, *литературоведение*. Этот последний (калька с немецкого *Literaturwissenschaft*) обретает всю свою значимость благодаря работам формалистов, цель которых, как мы помним, заключалась в том, чтобы создать самостоятельную литературную науку «на основе специфических свойств литературного материала»¹. И именно в формалистскую эпоху противопоставление этих двух терминов начинает звучать всё отчетливей, отсылая к различиям методологий и подходов.

С одной стороны – субъективность анализа и оценочность суждений; выстраивание/установление иерархий; инклюзивный метод (стирание границ между литературным, философским, социологическим и т.д. дискурсами). С другой стороны – дифференциальный подход, основывающийся на анализе соотношений, а не изолированных явлений; отказ приписывать литературному тексту идеологическую и когнитивную функции; строгая эпистемологическая спецификация; эмпирический метод; позитивистское возвращение к конкретике материала.

В числе вопросов, которые вызывает к жизни противопоставление этих двух методологий, находится вопрос, связанный со статусом новейшей литературы как объекта исследования. Традиционно считается, что подобная литература, находящаяся в постоянной динамике развития и, следовательно, как бы незавершенности (объект без границ), является «собственностью» исключительно литературных критиков. В то время как литературоведение, занимаясь «археологией форм», должно выбирать для себя объект ясно очерченный, выработка которого невозможна вне диахронической перспективы – именно эта последняя необходима

¹ Борис Эйхенбаум, *Теория «формального метода»*, in Б. Эйхенбаум, *О литературе*. Москва 1987, с.376.

для того, чтобы литература как объект знания яснее вырисовывалась как и в своих собственных пределах (когда становятся «видны» оформившиеся жанры, тенденции, отношения), так и в сопоставлении с другими областями искусства.

Иными словами, в академических кругах весьма распространено мнение о том, что литературоведение и новейшая литература две вещи несовместные, а тот, кто их совмещает, заведомо дискредитирует научно-исследовательскую работу и подтверждает тем самым правильность иронического замечания Сергея Довлатова: «Существует в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака»².

На наш взгляд, подобная эпистемологическая «недоверчивость» в отношении легитимности новейшей литературы как полноценного «объекта знания» искусственна и даже парадоксальна, особенно если вспомнить о том, какую роль сыграла для становления русского литературоведения именно новейшая (в контексте эпохи начала двадцатого века) литература; о том, какое влияние оказала поэзия русского авангарда на формирование формалистской методологии и терминологии, формалистского понятийного аппарата. Ведь именно поэзия футуризма стала тем практическим плацдармом, где зародилась якобсоновская теория о поэзии как об эстетизирующей функции языка. На том же плацдарме футуризма сформировалась и эпистемология В. Шкловского, который ввел в литературоведческий обиход такие – функциональные и по сей день – понятия как *остранение* и *обнажение приема*. Не говоря уже о том, что, по мнению формалистов, в отношении литературной эволюции не историк литературы, а именно современник с его не искаженным наслоениями времени взглядом способен вернее уловить новаторство конструктивного принципа, поиск которого и является движущей силой развития литературы.

Конечно, к подобному утверждению надо относиться с осторожностью – есть много примеров того, как именно современники ошибались в своих оценках и суждениях; но как бы то ни было, формалистская школа – прекрасный и безусловный пример (и здесь мы можем судить уже изнутри диахронической перспективы) продуктивного сотрудничества литературоведения и современной литературы. Но сотрудничества под определенным углом зрения, когда эта последняя, являя собой объект для исследования, также служит и иллюстративным материалом, который необходим для построения системы описания и толкования литературы как подчиняющегося определенным *законам* абстрактного целого, где динамика изменчивости и разрыва соседствует с динамикой преемственности, неизменности, возвращения.

Нам представляется, что подобный – формалистский – подход сохраняет свою эвристическую силу и для анализа новейшей/постсоветской литературы. Используя формалистские модели и метаязык, на материале сегодняшней литературы можно изучать и описывать общие *законы* функционирования литературной эволюции в России, рассматривая новейшую литературу как некую историческую проверку и подтверждение этих *законов*.

² Сергей Довлатов, *Креповые финские носки* (http://www.lib.ru/DOWLATOW/chemodan.txt_Piece40.01).

Постараемся продемонстрировать это на нескольких примерах.

В конце восьмидесятых годов, в ситуации перехода от советского к постсоветскому контексту, культурная парадигма в России, как мы помним, строилась на скрещивание двух противоположных тенденций: на уровне *генезиса* литература в период массивных публикаций запрещенных текстов начала выполнять важную мнемоническую функцию, становясь одним из путей восстановления культурной памяти и исторической преемственности; в то время как на уровне *эволюции*, отсылающем непосредственно к внутри-литературному измерению, доминировала динамика разрыва и перемен.

С точки зрения этой последней, постсоветскую эпоху можно охарактеризовать с помощью выражения, вынесенного Джорджем Стайнером в заглавие его классического труда, – *После Вавилона*³. Постсоветский «пост-Вавилон» отсылает, конечно же, к современной характеристике вавилонского мифа, традиционной для литературы двадцатого века от Замятина до Пьера Эмманюэля, когда башня ассоциируется с тоталитаризмом, а ее разрушение, соответственно, – с долгожданной свободой мысли и слова⁴. Но выражение это отсылает также и к тому, что можно было бы обозначить как современную вавилонскую металитературную парадигму. Внутри этой последней единый язык строителей вавилонской башни трактуется как язык адамический или же кратилов, предполагающий естественное, адекватное, «мимологическое» соотношение между словами и предметами и отрицающий тем самым произвольность знака⁵. Как замечательно показал Умберто Эко (*Поиски совершенного языка в европейской культуре*), на протяжении многих веков и внутри разных культур подобный язык – будь то в его адамическом первоначальном варианте, будь то в его вавилонской реализации – являлся объектом ностальгии. Но парадигма кардинально меняется в двадцатом веке⁶, когда утерянное единое средство коммуникации уже не рассматривается в ностальгической перспективе, но интерпретируется как неязык, как угасание и молчание⁷, а в его разрушении видится необходимое условие для рождения литературы. Подобное металитературное преломление вавилонского мифа прекрасно приложимо к постсоветской эпохе, когда на смену соцреализма, авторитарно моделирующего соответствия между словами и предметами, приходит эпоха литературного многоязычия и разноречия, рассматриваемых не как крах и наказание, но как счастливое освобождение. И, действительно, постсоветская литература в этом смысле необыкновенно лингво-центрична, она как бы играет в вавилонскую башню, предаваясь постоянным поэтическим экспериментам и отстаивая множественность языков как на уровне самого объекта репрезентации, так и в плане используемых нарративных приемов. Массивное введение ненормативной лексики, различного рода жаргонов и арго; создание новоязов и лингвистических «патчворков»; паро-

³ George Steiner, *After Babel. Aspects of Language and Translation*. New York / Londres 1975.

⁴ См. Parizet Sylvie, *Babel: ordre ou chaos?: nouveaux enjeux du mythe dans les oeuvres de la modernité littéraire*. Grenoble 2010.

⁵ Как мы помним, именно такую языковую теорию защищает Кратил у Платона.

⁶ Единый язык все чаще воспринимается как неотъемлемая часть тоталитарной модели.

⁷ См. Parizet Sylvie (2010), *op.cit.*, p.141.

дийное воспроизведение (пародия в тыняновском смысле как генератор нового) различных художественных языков – все эти процессы являются отличительными признаками новейшей литературы, которая после семидесяти лет застоя заново ставит вопросы о модальностях выражения, понимания, коммуникации.

В подобном литературном постсоветском контексте, для характеристики которого исследователи часто прибегают к теориям «креативного хаоса»⁸, рядовой читатель порой устает от бушующего потока новизны и задается вопросом о том, где граница, которая отделяет литературу от графомании. Для читателя-профессионала вопрос ставится по-другому. Так, некоторые критики еще находятся под воздействием эпистемологической идеи, которую (пост)советская эпоха унаследовала от романтизма и в которой адамический язык культуры воспринимается как отражение национальной специфики. Для таких критиков постсоветская литература есть лишь скандальная деградация незыблемой модели великой русской классической литературы⁹. Другие же исследователи предпринимают попытки по классификации и систематизации разноречивых современных стратегий письма и говорят о возникновении на руинах соцреализма романтического, конструктивистского, метафизического постмодернизма; магического, игрового, фантастического реализмов и т.д. Результаты этих таксономических попыток не всегда убедительны. Действительно, определение реализма (пусть даже с каким-нибудь уточняющим эпитетом) порой используется в отношении как текстов, оперирующих большим количеством типично постмодернистских приемов, так и текстов, где реальность воспроизводится в лучших традициях критического реализма девятнадцатого века.

Но важно отметить другое: за «букетом» перечисленных «измов» проглядывает определенная *закономерность*, единый структурирующий принцип, который как будто в новом цикле возвращает к жизни антагонизм двух парадигм – противостояние «искусства для искусства» и «искусства как отражение жизни». В рамках первой парадигмы – постмодернистской – текст и реальность предстают как условные, относительные, неустойчивые категории. Разрушение иллюзии референтности; приоритет художественного дискурса/жеста; непроницаемость означающего; подчеркивание материальности знака, наделенной экспрессивной эстетической функцией; абсолютизация свободы читательской интерпретации; интертекстуальная игра; неопределенность сюжетной интриги, пространственно-временных контуров повествования; «разрушение» категории

⁸ См. отсылки (например, Наум Лейдерман, Марк Липовецкий, *Русская литература XX века*, т.2. Москва 2010, с.380) к теориям Ильи Пригожина, говорящего о креативном хаосе как о «максимальном выражении открытости», когда активность системы «может быть определена как противоположность безразличному беспорядку, царящему в состоянии равновесия [...] все возможности актуализируются и сосуществуют и взаимодействуют друг с другом, а система оказывается в одно и то же время всем тем, чем она может быть» (Илья Пригожин, *Переоткрытие времени*, «Вопросы философии», 1989, №8, с.11).

⁹ См. Hélène Mélat, *De l'exclusif à l'inclusif: la prose russe du début du XXI^e siècle en quelques oppositions binaires*, in H. Mélat, *Le premier quinquennat de la prose russe du XXI^e siècle*. Paris 2006, p.11.

персонажа, и т.д., – наличие этих признаков в текстах Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Виктора Ерофеева и др. позволяет проводить параллели между произведениями русских и западных постмодернистских авторов.

Тексты, принадлежащие второй парадигме, гораздо более традиционны, для них характерны присутствие автора и иерархия ценностей. Тенденция к изображению предметного мира; приоритет референта; прозрачность означающего; выстраивание иерархий; реабилитация фикциональной категории персонажа как психологической конструкции; разработанность сюжетной интриги и т.д. – отличительные признаки направления *нового реализма*. Читатель новореалистических произведений «контролируется» принципом узнавания. Иными словами, тексты, принадлежащие парадигме «искусства как отражение жизни» в ее современном изводе, отвечают одному из убедительных определений реализма, которое было сформулировано опять же в формалистском контексте. Р. Якобсон в статье «О художественном реализме», сталкивая различные понимания столь условного и порой расплывчатого понятия как *реализм*, предлагает за отправную точку брать точку зрения читателя – реалистическая конвенция воспринимается как построение, воспроизводящее мир в узнаваемом виде, на предмет которого имеется некий консенсус.

Очевидно также, что в современном контексте возникновение реалистической парадигмы обусловлено общими *закономерностями* литературной эволюции, на которые в свое время указали всё те же формалисты. Как писал Б. Эйхенбаум:

«реализм – понятие относительное, само по себе ничего не определяющее [...] “Реализм” есть лишь условный и постоянно повторяющийся девиз, которым новая литературная школа борется против изжитых и ставших шаблонными и потому слишком условными приемов старой школы. Сам по себе он ничего положительного не означает, потому что содержание его определяется не сравнением с жизнью, а сравнением с иной системой художественных приемов»¹⁰.

И действительно, в современном контексте новый реализм формируется через двойное противостояние. Противопоставляет он себя, с одной стороны, постмодернизму, где разрушается прямая – объективная или субъективная референциальность. С другой же стороны, через поэтику индивидуальной правды, усиление автобиографического момента, актуализацию эстетики безобразного и языкового натурализма, реалистическое письмо формируется по линии разрыва с эстетикой соцреализма с ее абсолютизирующим, эссенциализирующим и романтизирующим идеологическим пафосом.

Но на примере сегодняшнего литературного материала можно говорить и о других *закономерностях* в эволюции русской литературы конца девятнадцатого – начала двадцатого века, о чем свидетельствует прилагаемая в приложении схема. Эта последняя была выработана на лозаннских семинарах по теории литературы, которые проходили более двадцати лет под руководством Леонида Геллера.

¹⁰ Борис Эйхенбаум, *Молодой Толстой*, in Б. Эйхенбаум (1987), *op.cit.*, с.96-97.

Приложенная схема демонстрирует определенные закономерности литературной эволюции указанного выше периода – циклы канонизации сменяются циклами радикализации. Конечно, период с 1930 по 2000 годы, включающий в себя два цикла, – период особенный. Соцреализм как эпифеноменальное, перформативное искусство, эстетика которого основывается на принципе не *видения*, а *узнавания*, соответствует фазе, где мотивировка (в формалистском понимании этого слова) внелитературными факторами зашла очень далеко. После долгого периода радикальной канонизации наступает период не менее радикальной радикализации, а именно – переворачивание всех норм, правил и ценностей в предельном эклектизме постмодернистской эстетики. Но многие механизмы этой последней уже обнаруживали себя и на других этапах литературной эволюции. Например, в эпоху авангарда, пришедшей на смену очередного периода канонизации. Общие характеристики авангарда и постмодернизма – искусство более не подчиняется принципу узнавания, но принципу «видения»; оно утверждает свою другость и отказывается от какой бы то ни было мотивировки; конструктивный принцип работы с материалом выдвигается на первый план; приемы затруднения формы и остранения направлены против автоматизации моделей и правил.

Необходимо тем не менее заметить, что, если обнаружение подобных закономерностей литературной эволюции и помогает лучше охарактеризовать каждое конкретное изменение в системе, то оно не дает при этом возможность объяснить ритм эволюции и конкретный выбор тех путей, по которым эта последняя проходит. Ибо как писал Ю. Тынянов:

«Вскрытие имманентных законов истории литературы (resp. языка) позволяет дать характеристику каждой конкретной смены литературных (resp. языковых) систем, но не дает возможности объяснить темп эволюции и выбор пути эволюции при наличии нескольких теоретически возможных эволюционных путей, ибо имманентные законы литературной (resp. языковой) эволюции — это только неопределенное уравнение, оставляющее возможность хотя и ограниченного количества решений, но необязательно единого»¹¹.

И здесь (в размышлениях о переходе от эпохи соцреализма к постмодернизму) возникает, конечно, вопрос о специфике русской литературной модели постмодернизма. Как отмечалось не раз, эстетика этой последней, окончательно сформировавшись на руинах соцреализма, не есть следствие общей усталости и изношенности культуры, растратившей свои прежние идеалы и ориентиры. Успех знаменитой книги Фукуямы, которая была издана по-русски в девяностые годы, тем более значителен, что ее смысл интерпретируется в свете специфики постсоветского контекста. Не конец Истории с большой буквы, но конец одной из «историй», который предполагает новое начало. С этой точки зрения, русский постмодернизм вписывается в более общую парадигму, описанную в конце семидесятых годов Лиотаром и оспоренную позднее Джеймисоном: генезис пост-

¹¹ Юрий Тынянов, *Проблемы изучения литературы и языка*, in Ю. Тынянов, *Поэтика. История литературы. Кино*. Москва 1977, с.283.

модернизма рассматривается как циклический момент, как возвращение к истокам модернизма с его культом новаторства и эксперимента, но вне каких бы то ни было «телеологических притязаний»^{12 13}.

Все вышеизложенные наблюдения имели своей целью показать, что новейшая русская литература является еще одной исторической проверкой и подтверждением общих *законов* функционирования литературной эволюции, где новизна, рождаясь, казалось бы, на радикальном разрыве с традицией, обретает весь свой смысл лишь через динамику преемственности. Законы эти, оставаясь неизменным фоном для всех литературных «революций», свидетельствуют об имманентном культуре – даже в столь экстремальных условиях как те, что уготовила русской словесности большая часть двадцатого века, – феномене непрерывности, о которой в свое время замечательно говорил в своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский:

«[...]скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием»¹⁴.

Моделирование эволюции современной русской литературы: течения и периоды

Упрощенная схема отношений между циклами «канонизации/радикализации» и модусами мимесис

Четыре цикла канонизации: (а) преобладание одного течения/одной эстетической программы; (b) попытки синтезировать предыдущие программы; (с) испытание эстетического потенциала главной программы; (d) стремление инструментализировать художественные практики; борьба за полезное искусство.

Четыре цикла радикализации: (а) множественность течений; (b) отказ от предыдущих программ и/или их деконструкция; возвращение «к истокам»; (с) поиски нового; (d) борьба за автономию искусства.

Реалистическая мимесис: (а) тенденция к «иллюзионистскому» представлению предметного мира и скрытие художественного жеста; (b) читатель контролируется принципом «узнавания»; (с) приоритет референта; (d) прозрачность означающего, материальность знака скрывается или не учитывается.

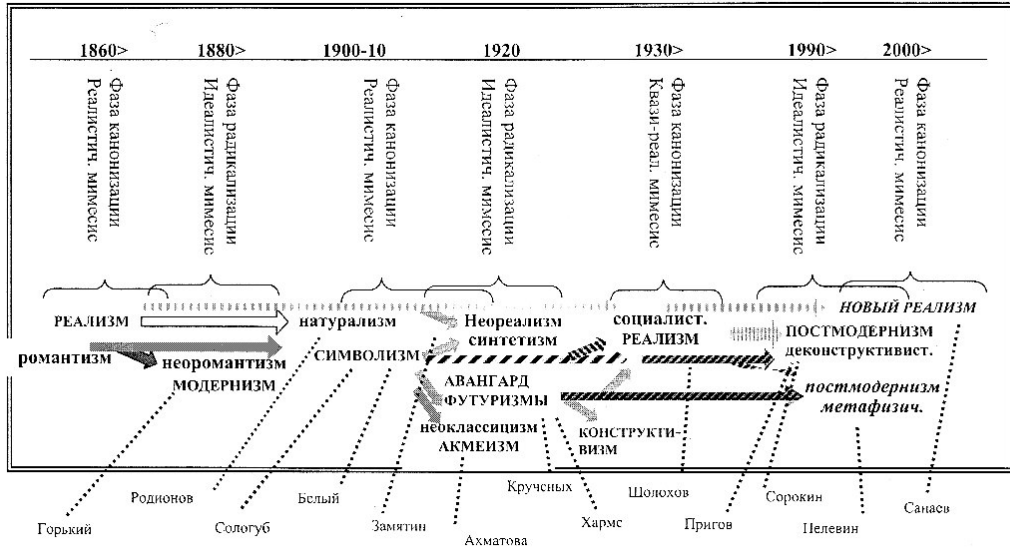
Идеалистическая мимесис: (а) тенденция к представлению мира «идей» или сублимированного мира нематериальных реальностей; (b) читатель получает свободу и считается активным; (с) приоритет художественного дискурса/жеста; (d) не-

¹² См. Михаил Эпштейн, *Модерн в русской литературе*. Москва 2005, с.450.

¹³ Присутствие в русской постмодернистской модели многих «дежавю» модернизма очевидно.

¹⁴ Иосиф Бродский, *Нобелевская лекция*, in И. Бродский, *Поклониться тени*. Санкт-Петербург 2000, с.310.

проницаемость означающего, подчеркивание материальности знака, наделенной экспрессивной эстетической функцией.



The laws of literary evolution: Analysing contemporary Russian literature

Grounded in formalist explanatory models, this article seeks to account for recent literary production in Russia, and identify the laws guiding its historical development to the present day. Contemporary literary works are examined in light of the development of Russian literature (19-20th centuries) viewed as a system of functional correlations where variability, rupture and mutation co-exist with continuity, the return to old forms and models, and the repetition of familiar patterns.

АНН КОЛЬДЕФИ-ФОКАР
(Париж)

ЗАКОН ПОДПОЛЬЯ

Уже самое поверхностное изучение «подполья» у Достоевского (см. *Записки из подполья* [1864]) вписывается в тему конференции, организованной в Лозаннском университете. Если понятие *правила* – как и само это слово – появляется в тексте Достоевского всего один раз (в первой части произведения – *Записках* как таковых) и поэтому не может служить подтверждением высказанного выше положения, понятие *закона*, напротив, встречается в тексте многократно. Впрочем, практически полное отсутствие *правила* компенсируется здесь на двух уровнях: с одной стороны, присутствием в подтексте – так и хочется сказать в «подполье» – *исключения* из правила; а с другой стороны – *нормой*, занимающей одно из центральных мест (особенно в первых главах), которая может восприниматься как субститут *правила*.

С самого начала своего монолога человек из подполья представляет себя как живущего «вне нормы», даже «не-нормального» – в смысле «противопоставленного правилам, обычному порядку»: годами он живет отрезанным от мира, вне общества и его правил, норм, кодов и конвенций. Он давно уже выбрал подполье, тем самым избегая общих правил. Еще один признак его «не-нормальности» – в том, что он болен (впрочем, он так и начинает свой монолог: «Я человек больной»¹), и это ненормальность в том смысле, в каком ее будет понимать Бергсон: «...Il est conforme à nos habitudes d'esprit de considérer comme **anormal**² ce qui est relativement *rare* et *exceptionnel*, la maladie par exemple»³.

Впрочем, человек из подполья отстаивает свое право на эту ненормальность, именно руководствуясь идеями о редком и исключительном, ибо он не ле-

¹ Федор Достоевский, *Записки из подполья*, in Ф. Достоевский, *Полное собрание сочинений в тридцати томах*, т.5. Ленинград 1973, с.99.

² Выделено нами – как и все дальнейшие (за исключением отдельно оговоренных) подчеркивания в этой статье. – А. К.-Ф.

³ Henri Bergson, *Les Deux sources de la morale et de la religion*. Paris 1948 (58^e édition), p.26.

чится – хотя и говорит одновременно об уважении, испытываемом им по отношению к врачам («Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю»⁴). У героя больная печень, но он хочет страдать еще больше и наслаждается собственной острой зубной болью... Примерами такого рода текст Достоевского изобилует.

И тем не менее, парадоксально – персонаж этот соткан из противоречий – то, что одновременно (по крайней мере, если верить Достоевскому, голос которого раздается в начале *Записок* в примечании-предупреждении), человек этот является воплощением нормы: ведь он был задуман автором как «один из характеров протекшего недавнего времени»⁵, почти карикатурный, с некоторыми заостренными чертами, представитель «еще доживающего поколения»⁶.

Да и сам персонаж Достоевского неоднократно это признает. Наиболее убедительным образом иллюстрируют это утверждение, вероятно, те слова, которые он говорит о городе, в котором живет – о Санкт-Петербурге. Так, он говорит о своем «сугубом несчастье»⁷ жить в «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре»⁸.

На первый взгляд, нашим рассуждениям как будто противоречит эта особенность Санкт-Петербурга, а также его положение первого из городов «умышленных»: уже по самому своему статусу жителя этого исключительного города персонаж из подполья кажется вне нормы, уже просто потому, что живет в этом «не-нормальном» городе, который, к тому же, является самым «не-нормальным» из всех городов, если иметь в виду мировые стандарты. Однако хитрец этот – человек из подполья – тут же уточняет: «Города бывают умышленные и неумышленные»⁹, возвращаясь тем самым к «норме» (в смысле некоторого «среднего» состояния) тех, кого можно причислить – во всем мире – к категории «жителей умышленных городов». Конечно, первое место, занимаемое здесь Санкт-Петербургом, изменяет исходную данность – но не значительно.

Кроме того, наш персонаж в течение долгих лет был чиновником – если точнее, коллежским асессором. Получив наследство от какого-то дальнего родственника, он тут же бросил службу, чтобы навсегда скрыться в своем подполье – на самом деле, все в том же жалком жилище, где он жил и до этого и где ему прислуживает «деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет»¹⁰. Все эти уточнения даются самим героем, и они созвучны целому ряду ситуаций, персонажей и произведений русской литературы, начиная с Гоголя и его *Петербургских повестей*. Здесь мы находимся в некоторой литературной «норме» – норме, граничащей со «стереотипом» или «клише». Тот факт, что человек из подполья говорит о своей прошлой чиновничьей службе и упоминает свой чин до того, как уточняет, где он живет, не сообщая ни разу

⁴ Федор Достоевский (1973), *op.cit.*, с.99.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, с.101.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, с.102.

своего имени, еще больше усиливает это впечатление: этот герой относится к категории петербургских персонажей, наподобие гоголевского сумасшедшего (который тоже пишет *Записки*) или Акакия Акакиевича – за тем исключением, что человек из подполья оказывается еще более «абстрактным» (как и город Санкт-Петербург), потому что даже имени у него нет.

В человеке из подполья одновременно присутствуют – по крайней мере, в речах, которые он произносит перед своими воображаемыми слушателями, – и претензия на «не-нормальность», на «(в)не нормальное», и стремление к «нормальности», порой преувеличиваемой.

В самом деле, его желание соответствовать определенной норме проscalaзывает в тексте много раз. Доказательством этому могут служить аллюзии, которыми усеяны *Записки*, на то, что приличествует говорить или делать, на то, что должен или не должен говорить «порядочный» человек. Так, в заключении к первой главе, где говорится о содержании *Записок*, читаем: «А впрочем: о чем может говорить **порядочный** человек с наибольшим удовольствием? Ответ: о себе. Ну так и я буду говорить о себе»¹¹. И тотчас после этого: «Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить? Впрочем, что ж я? – все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех»¹².

Всё здесь – из категории «самого», из относящегося к «более» и к «наиболее». Петербург – город «более умышленный», чем все прочие, а человек из подполья говорит о своих болячках и самых разных болезнях «более», чем кто бы то ни было другой. Кроме того, он всегда считал себя умнее других (опять-таки, примеров этому множество). Но пусть все эти «самое» и «более» исчезнут, и останется лишь безнадежная банальность, в которой исчезает мечта о редком и исключительном.

У человека из подполья в меньшей степени замечен осознаваемый им отказ следовать норме – или нормам, – чем неспособность находиться *вне* или *над*. Констатация этой неспособности имеет непосредственным следствием уход в подполье. Однако речь при этом не идет о «подпольщичестве» воинствующем и активном, но скорее о том, чтобы найти во мраке подполья убежище. К этому добавляется сожаление – очевидное, хотя и полностью отрицаемое – о том, что он так никем и не стал, даже «насекомым», даже «лентяем», «заклейменным» в этом качестве и, следовательно, «признанным», а значит, и имеющем свое место в упорядоченности этого мира.

С этого момента единственной лазейкой для человека из подполья остаются чудовищное, уродство или, скорее, утверждение излишества, чрезмерности, в данном случае – дисгармонии, хаоса, граничащего с чудовищным: «Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад»¹³. «Чудовищность» этого персонажа находит выражение и в постыдном наслаждении, которое ему достав-

¹¹ *Ibid.*, с.101.

¹² *Ibid.*, с.102.

¹³ *Ibid.*, с.103.

ляли когда-то те регулярные случаи, когда он «опускался в [...] тину»¹⁴, в то время как все его сознание (именно сознание в смысле интеллекта, а не совесть) страдало, словно «диктуя» ему, принуждая его ценить лишь «прекрасное и высокое»¹⁵.

Мы неслучайно употребили здесь слово *диктовать*. Речь идет о правиле, навязываемом сознанием, о законе, почти о *диктате* – перед которым, тем не менее, человек из подполья, рискуя совсем пропасть, кажется, отказывается капитулировать: «Чем больше я сознавал о добре и о всем этом “прекрасном и высоком”, тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней»¹⁶.

Однако человек из подполья оказывается еще более извращенным. Стыд (это слово часто повторяется в монологических по своему характеру *Записках* – тем самым свидетельствуя о наличии совести, которая, тем не менее, как таковая непосредственно не называется) побеждает здесь несмотря ни на что – однако потому, что он также оказывается источником наслаждения. Таким образом, человек из подполья снова должен отказаться от сражения и найти для себя новую лазейку:

«Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было **мое самое нормальное состояние**, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не **поверил** (а может, и в самом деле **поверил**), что это, пожалуй, и есть **нормальное мое состояние**»¹⁷.

Два фрагмента этой цитаты заслуживают того, чтобы на них задержаться: прежде всего, мысль о «нормальном состоянии», которая затем долго развивается в *Записках*, а кроме того – понятие *веры*, так как употребляется здесь именно глагол *поверил* (далее мы к этому еще вернемся).

От мысли о «нормальном состоянии» человек из подполья фактически переходит – практически непосредственно – к «законам природы», еще раз подчеркивая, что «нормальное» понимается здесь в смысле общей, общепринятой нормы:

«Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и **вера**, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что все это происходит по **нормальным и основным законам** усиленного сознания и по инерции,

¹⁴ *Ibid.*, с.102.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь»¹⁸.

Вся ответственность, вся вина, само понятие *ошибки* и *греха* исчезают здесь – одновременно с прощением: «[...] законов природы нельзя прощать»¹⁹. И если герой чувствует себя виноватым (ибо он испытывает от этого наслаждение), он может быть таковым лишь вопреки самому себе, «так сказать, по законам природы»²⁰. Это «так сказать» кажется здесь важным, являясь своего рода крайней формулой законов детерминизма.

Начиная с этого момента, все организуется само собой: как решила «нежная **мать-природа**»²¹, человечество разделяется на две противоположные категории. С одной стороны – «hommes de la nature et de la vérité»²², которые действуют, идут напролом и не думают. Это «нормальные люди»²³, «от рождения глупые»²⁴. С другой – человек, «вышедший из реторты»²⁵ (а следовательно, речь может идти о законах науки и правилах техники, хотя персонаж Достоевского и видит в этом что-то отчасти мистическое); эти люди столь много думают о мире и о том, что в нем происходит, что часто попадают в западную инерцию: это «**законный** [...] плод сознания»²⁶. Это в большей степени «мышинная», чем «человеческая» категория.

Все эти законы полностью управляют миром и жизнью. У человека нет выбора: он просто **обязан** их принять – точно так же, как то, что дважды два четыре.

Именно здесь человек из подполья раздражается яростью, именно здесь выплескивает он свою желчь: «Дважды два четыре – ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется»²⁷. Могущество законов природы переживается жителем подполья как личная обида – можно подумать, что они существуют только для того, чтобы досаждать ему (здесь почти слышится эхо детского вопроса Акакия Акакиевича: *Зачем вы меня обижаете?*).

Этому «дважды два четыре» – как и всем вообще законам – человек из подполья отчаянно пытается противопоставить каприз и фантазию: «Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещьца»²⁸. «Закону сильнейшего», тирании фертов он отвечает по-хулигански, дерзким и вызывающим тоном «шенапана», не приемлющим ничего – даже и «хрустальный дворец», который когда-то будет

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, с.103.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, с.104.

²² По-французски, в тексте Достоевского (*ibid.*).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, с.119.

²⁸ *Ibid.*

создан из «законов рассудка и истины»²⁹ – на том основании, что нельзя будет ему даже тайно язык «выставить»³⁰.

Чувствуя себя обиженным – на протяжении всей своей жизни – законами природы («законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали»³¹), персонаж Достоевского может похвастаться лишь тем, что разрешает себе всяческие «причуды», придумывает себе приключения, из которых он, опять-таки, не выносит ничего кроме стыда, страданий, злобной раздражительности и ложных раскаяний.

Вторая часть произведения, озаглавленная «По поводу мокрого снега», – рассказ об одном из таких приключений, вероятно, наихудшем, о котором человек из подполья сохранил самые горькие воспоминания. Это приключение не обязано ничем законам природы или рассудка – однако всем обязано «нормам» и шаблонам литературы определенного сорта.

«По поводу мокрого снега» рассказывает о неудачной попытке человека из подполья сотворить из своей жизни литературное произведение по всем правилам романтизма, превратиться в героя романа – причем героя исключительного, в чьих подвигах и превосходстве никто бы не стал сомневаться.

Неудача этой затеи очевидна. Персонажу, все существование которого отражает лишь абсурд и посредственность его наивных ребяческих мечтаний, не удастся воспользоваться единственной возможностью (воплощаемой Лизой) пойти по «другому пути». Путь этот, который он восхваляет в *Записках*, лежит вне проторенных дорог, вне нормы и «нормальных интересов» человека, все более и более принимаемых во внимание и классифицируемых в соответствии с законами науки.

Достоевский сталкивает здесь законы науки и законы литературы (во всяком случае, литературы «незрелой» и пустой), ибо и те и другие суть ложь, но принимают они при этом вид неприкосновенных истин – истин, имеющих силу законов.

Впрочем, человек из подполья не дурачок, не обманывается он и насчет собственной неспособности избежать стереотипов литературной нормы. Каждая из «причуд», которые он позволял себе раньше, завершалась констатацией одного и того же: «Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения»³².

Вторая часть – завершающая произведение в целом – заканчивается обличительной речью героя. Она направлена одновременно против искажающей живую жизнь романтической литературы, властвующей над умами поколения, одним из последних представителей которого человек из подполья и является, – и против холодной, черствой, беспощадной и столь же лишенной жизни науки, которая придет ей на смену через двадцать лет:

²⁹ *Ibid.*, с.111.

³⁰ *Ibid.*, с.120.

³¹ *Ibid.*, с.107.

³² *Ibid.*

«Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, – не будем знать, куда примкнуть, чего придерживаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, *собственным*³³ телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывальыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать “из Подполья”...»³⁴.

Достоевский возвращается к этому в очередной – и последней – своей «записке», звучащей как приговор: «Впрочем, здесь еще не кончаются “записки” этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться»³⁵.

В первой части произведения персонаж гордился тем, что подполье для него – своего рода «противоядие», способ противостоять закону «хрустального дворца», законам природы и науки, которые немедленно «нормализуют» добрые намерения и свободную волю человека: «Да здравствует подполье!»³⁶ – кричал он. И объяснял это так: «Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать). Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее! Там по крайней мере можно...»³⁷.

На этом хвала подполью заканчивается. Иллюзия обречена на неудачу, а персонаж, бросаясь (понятным лишь ему самому образом) из одной крайности в другую, начинает то же самое подполье обличать: «Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»³⁸.

Об этом «чем-то другом» заходит речь в главе о хрустальном дворце. Человек из подполья упрекает его создателей в том, что они никогда не смогут построить такой дворец, что ни у кого не будет причин или желания ему «язык выставить». Однако человек из подполья стремится именно к этому: дайте мне другой идеал, кричит он, постройте то, во что я мог бы **верить**! Здесь мы возвращаемся к проблеме веры, лишь отчасти затронутой выше.

То, в чем нуждается человек из подполья и что он отчаивается найти, – это **Закон** (с большой буквы), в который он мог бы **верить**, Закон Божественный из новых законов-Заповедей, столь далеких от законов логарифмических таблиц.

«[...] я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его

³³ Подчеркнуто Достоевским. – А. К.-Ф.

³⁴ Федор Достоевский (1973), *op.cit.*, с.178-179.

³⁵ *Ibid.*, с.179.

³⁶ *Ibid.*, с.121.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не **верю**»³⁹.

Закон подполья или, скорее, правило жизни (как мы сказали бы о монашеском ордене) того единственного человека, который в нем живет, – это правило одиночества и молчания, ни к чему не приводящих. Норма здесь – это парадокс и бесплодные противоречия, однако норма эта отнюдь не ведет к миру, а напротив – вызывает лишь желчную горечь и бессильную ярость.

Кажется, что персонаж Достоевского все больше и больше погружается в свое подполье – отчасти выбранное им самим, отчасти ему навязанное. Он поочередно стремится к тому, чтобы вырваться оттуда и чтобы остаться там навечно, при этом осознавая – но впрочем, в этом и состоит главная причина его мучений – лучше, чем кто бы то ни было другой (по крайней мере, так он считает), как опасно, например, выпускать из подполья демонов: «А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит...»⁴⁰.

Согласимся здесь с человеком из подполья и с Достоевским: на этом «можно и остановиться».

(Перевела с французского Е. Вельмезова)

The Law of the Underground

Being beyond the norm, the hero of Dostoevsky's *Notes from the Underground* at the same time corresponds to various norms, especially to literary ones. Revolting against the laws of nature and science, feeling them incapable of guiding and governing humanity in the very near future, he exhausts himself in a vain search of another Law, a divine one, which he would never abandon because, paradoxically, he would believe in it.

³⁹ *Ibid.*, c.120-121.

⁴⁰ *Ibid.*, c.121.

ЭДУАРД НАДТОЧИЙ
(Лозанна)

МИФ О ПРОМЕТЕЕ И СПОР О ПРИРОДЕ ЗАКОНА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Спор о Прометее – это не просто спор эстетов о некоем мифе древних. Это чрезвычайно нагруженный современными порождающими смыслами диалог с древними о самих себе¹. Напомню, что именно вокруг мифа о Прометее устраивает Платон спор Сократа с Протагором о *to phusei dikaion* (естественном, «фюсисиальном» праве) и *to nomo dikaion* (установленном праве) в диалоге «Протагор» (сам миф в изложении Протагора: 320d-322d), о том, как человеку дан закон – по природе или позитивным установлением. Согласно мифу, рассказанному Протагором, закон дарован людям Зевсом в компенсацию за ущерб, нанесенный первоначальным распределением природных способностей Эпиметеем, братом Зевса, среди живых существ. В ходе этого распределения, тщательно установив равновесие способностей среди животных, о людях Эпиметей забыл, в результате чего Прометей был вынужден красть у Афины и Гефеста их искусства и необходимый для этих искусств огонь, чтобы у людей были хоть какие-нибудь способности. Однако в результате люди остаются одинокими эгоистами, не способными по природе объединяться в сообщества-города, и поэтому не выдерживают конкуренции со способными объединяться по природе животными видами. Посему Зевс, во спасение людей, повелевает распределить среди людей возможность добродетели и дает закон, карающий смертью всякого, кто к добродетели не стремится. Протагор рассказывает этот миф, чтобы объяснить, что добродетели и закону можно научить, ибо в природе они не заложены, а есть продукт «социального договора». С чем не согласен Сократ, доказывающий², что добродетель и коллективизм есть следствие природного свой-

¹ См. Jean-Pierre Vernant, *Le mythe prométhéen chez Hésiode*, in J.-P. Vernant, *Mythe et société en Grèce ancienne*. Paris 1974.

² Я немного упрощаю дискуссию Сократа/Платона с софистами, в «Протагоре» дискуссия носит более частный характер, ибо цель Сократа – доказать, что софисты не имеют знания о том, чему они учат, что он и проделывает на примере понятия удоволь-

ства или природного закона, в исполнение которого каждый человек – демиург-техник своей души, создающий для нее адекватную форму в коллективном деле, то есть в совместной политической жизни в полисе, городе. Здесь, в этом споре Сократа с Протагором, таким образом, уже заложены все дальнейшие споры о природе закона и соотношении закона естественно-природного и закона социального.

В российском контексте, где существуют проблемы и с *to phusei dikaion* и с *to nomo dikaion*, и вообще с реализацией изомии и изегории, тема «прометеева дара» – предмет жарких дискуссий, не законченных до сих пор. В данной статье я попытаюсь реконструировать тот контекст, в котором происходил малозамеченный, но весьма важный для понимания антиномий конституирования соотношения *to phusei dikaion* и *to nomo dikaion* в сталинскую эпоху спор о титанах между А.Ф. Лосевым и Я. Голосовкером, а также наметить некоторый контекст этой важной полемики.

1. Вяч. Иванов и трагедия Прометея

Антиномия жертвы и бессмертия как условий нового, совершенного номоса, формулируемая в контексте «океанического» фигурезиса с опорой на греков, – важнейшая тема Вяч. Иванова, одной из ключевых литературных фигур начала двадцатого века в России. Итоговым произведением Иванова в этой связи (и по сути – его итоговым произведением как участника русского литературного процесса вообще) стала его трагедия «Прометей». Писавшаяся на протяжении огромного промежутка времени – с 1903 до 1919 года (хотя в 1915 году «Прометей» под названием «Сыны Прометея» и был уже опубликован в журнале *Русская мысль*, но окончательный свой вид и само название он приобрел лишь при отдельном издании в 1919 году, для которого Иванов даже написал специальную статью, где – с применением чертежей – разъяснял смысл своего произведения), трагедия стала квинтэссенцией основных тем и идей Иванова.

«Прометей» строится исходя из нового истолкования фигуры Океана. Вяч. Иванов, специалист по античной филологии, ученик знаменитого немецкого исследователя римской культуры Моммзена (у которого он написал и защитил диссертацию по античному праву), изначально находился под сильным влиянием Ницше, его антиномии дионисийское/аполлоническое. Вот как он характеризует свое понимание этой антиномии в статье о Вагнере: «Миро-объятный замысел его жизни, его великое дерзновение поистине были внушением Дионисовым. Над темным океаном симфонии Вагнер-чародей разостлал сквозное златотканое марево аполлонийского сна – Мифа»³. Мы узнаем известную тютчевскую схему: Океан, темная стихия хаоса, а на ней – светлая вуаль сна. Правда, коррекции весьма значительны: для Тютчева сон находился на ночной стороне жизни, на стороне океана, тогда как ницшеанская коррекция его схем Ивановым по сути

ствие. Если смысл аргументации Протагора из диалога понятен вполне, то совокупный аргумент Платона и Сократа будет более понятен, если рассматривать «Протагор» в связи с другими диалогами Платона по сходной теме – *Софист*, *Государство*, *Законы*.

³ Вячеслав Иванов, *Вагнер и Дионисово действо*, in Вяч. Иванов, *Родное и вселенское*. Москва 1994, с.35.

противопоставляет состояние сна как светлое состояние темной бездне хаоса. Для «дневного состояния» сознания, по сути, не остается места, и вся схема Тютчева должна быть заново переосмыслена.

Для такого переосмысления Иванов обратился к иной традиции, чем привычная шестнадцатому – восемнадцатому векам классическая античность – к традиции орфических гимнов. Орфическая традиция – от которой не осталось никаких прямых текстов и которая известна нам в основном в ее неоплатонических и раннехристианских переосмыслениях – традиция очень древняя, уходящая во времена, по всей видимости, более далекие, чем времена создания гомеровского эпоса. Если Гесиод рассказывает *mûthos*, которые диктуют ему дочери Мнемозины, то Орфей и его наследники поют под вдохновением, полученным непосредственно от своих прародителей, восходящих прямо к Аполлону⁴. В результате Гесиод – тот, кто призван только напомнить позднерожденным (как людям, так и олимпийцам) об их месте, занимаемом в закончившем формироваться Космосе. Поэтому у Гесиода теогония и антропогония быстро вытесняют все рассказы о космогонии. Орфики же располагают прямым вдохновением, позволяющим подняться вплоть до истоков мира. Платон, хотя и иронически, называет их в «Тимее» «детьми богов», которые хоть и речи ведут неправдоподобные, но имеют на это право, коль они рассказывают историю своей семьи (Тимей, 40 d-e). Следует также напомнить, что песнопения орфиков соотносились с элевсинскими мистериями и, по всей видимости, были ритуальными песнопениями этих мистерий, то есть ритуально-танцевальными средствами достижения мистического экстаза. Иванов отводил элевсинским мистериям, наряду с трагедией, исключительное место в своей теории «хорового действия», и не мудрено, что орфики привлекли его внимание.

Таким образом, орфическая традиция носит по отношению к космогонии, о которой она повествует, совсем другой характер, чем мифы, рассказываемые Гомером и Гесиодом. Речь идет как бы о прямом свидетельствовании, и мифы в устах орфиков звучат, следуя этой логике, более «аутентично» и более по праву, чем в передаче Гомера или Гесиода.

Вяч. Иванову (да, собственно, и нам – с его времен мало что содержательно добавилось к нашим знаниям об орфической космогонии) орфики могли быть известны по неоплатоническим пересказам и по книгам раннехристианских писателей. Источник тех и других – прежде всего «Священные повествования двадцати четырех рапсодов», датируемые первым – началом второго века нашей эры⁵ (они известны нам только как фрагменты, цитируемые неоплатониками и христианами). Именно эти фрагментарные компиляции орфической традиции и стали тем источником, из которого черпал Вяч. Иванов вдохновение в своем переосмыслении ницшеанского аполлонийства и ницшеанского толкования древнегреческой трагедии Ницше.

Согласно рапсодической версии орфической космологии⁶, в основе миропорождения находится Хронос, время, ни от кого не рожденное, но рождающее

⁴ Reynal Sorel, *Les cosmogonies grecques*. Paris 1994, p.60.

⁵ *Ibid.*, p.81.

⁶ *Ibid.*, p.85-86.

Айон – нашу длительность жизни. Более точно – Хронос порождает эфир и бездну, или противопоставление освещенной выси и бездны мрака. Под воздействием Хроноса высь высвобождается из недрожимости и распространяется к низу, овладевая движением. Так возникает Яйцо, представляющее все три аспекта первичной триады: сферическую форму (Хронос, порождающий от самого себя), белизну (свет эфира) и непроницаемость (великая бездна). Из яйца выходит Проявленное, сын Хроноса, первое видимое в эфире существо, устанавливающее порядок в мире (Космос). Среди его имен, в частности – Эрос и Дионис. Таким образом (это интересует нас в связи с концепцией Вяч. Иванова) Дионис в орфической интерпретации – одно из имен того, кто впервые устраивает Космос и руководит им. Но орфики разворачивают целую последовательность циклов, в которых выстраивается ряд Первосущий (Фанес) – Ночь – Уран – Кронос – Зевс – Дионис. Именно этот последний этап – от Зевса к Дионису – нас интересует в связи с концепцией Иванова. Прокл в комментариях к «Тимею» – вероятно, известных Иванову – описывает, как Дионис дал начало роду человеческому: Титаны завлекли при помощи игрушек и зеркала ребенка-Диониса, которому Зевс передал суверенитет над Космосом, отвлекли таким образом его внимание, убили его и съели – за исключением сердца. Зевс испепелил Титанов и благодаря оставшемуся сердцу воскресил Диониса к жизни, а пепел Титанов смешался с землей и дал рождение роду человеческому. Орфей таким образом предупреждал людей, что необходимо воздерживаться от убийств – то есть, от всех кровавых жертвоприношений и мясной пищи – чтобы очиститься от титанического в человеке...

Я ограничусь этим кратким и огрубленным изложением орфической космогонии, почерпнутым мной из содержательной книги Сореля. Орфизм интересовал меня только как источник концепции трагедии «Прометей». Дело в том, что, в отличие от Ницше, Дионис Иванова – бог не экстатический, а страдающий. Приняв за основу орфическую версию космогонии, Иванов взял из нее особенно то, что касалось дионисийского цикла космогонии – описанный выше миф о растерзании Диониса титанами и последующем возникновении людей из пепла Диониса. Этот миф оказался у Иванова соединен не только с непосредственно гомеровской (и отчасти гесиодовской) версиями космогонии, теогонии и антропогонии, но и с христианским видением страдания как творческой силы. Сквозь фигуру ивановского Диониса проглядывает фигура Иисуса Христа (здесь Иванов следует за «Дионисом распятым» одного из последних писем Ницше, уже уходящего в безумие).

В развитие конфликта земли и неба Иванов завязывает мировое устройство вокруг конфликта титанического и олимпийского («сушего»). Титан Прометей, движимый свойственной титанам неукротимой волей к действию, сотворяет род человеческий из пепла, оставшегося от титанов, сожженных огнем пожранного ими «небесного младенца» Диониса. В основе его действий – сложный сплав жажды мести за погибших сородичей и желания приобщиться к небесному, предвечно-сущему началу, заключенному в искрах дионисовых, тлеющих в людях. Эти искры небесного огня дают людям возможность свободы действия, отсутствующую у Прометея. Он знает наперед свою судьбу, и к божественному светочу свободы он не приобщен. Но тем самым его действие обращается в жертву – ради

рода людского, способного свободно объединиться в устремлённости к своему дионисову (в смысле Иванова, а не Ницше) истоку. Но несущий в себе также и титаническое начало, род людской непрерывно меняет свои решения, ибо постоянно пребывает в раздвоенности. Прометей возжигает людям украденный для них огонь – для принесения жертвы Богу и заключения с ним завета. Но Бог этот – и такова суть мести Прометея Зевсу – не Зевс. Жертвенный огонь возжигается для более высокого выражения божественной сущности, лишь одной из личин которой выступает Кронид. Огонь возжигается для «неведомого Бога» – Единого, «чей пламень в небожителях и в нас», – кому Зевс должен поклоняться совместно с людьми. В отмщение Зевс посылает к людям Пандору. Она рассказывает, что является извлечённой из Прометея его женской половиной, по образу и подобию которой люди слеплены, и которую затем Прометей оставил как наживку олимпийцам, с тем, чтобы украсть у них искры божественного огня, когда, привлечённые красотой Пандоры, олимпийцы спустятся для её кражи. Люди предают Прометея (ведь у них свободная воля!), провозглашают царицей Пандору, попадая под власть демонов власти и насилия (Кратоса и Бия), в результате чего демоны сковывают Прометея⁷. Затем, опять меняя решение, люди убивают и Пандору, оставаясь один на один со своими демонами – и с жертвенным огнём.

Сюжет этой трагедии – потребовавшей специальной статьи Иванова для разъяснения хитросплетений символов – жертвенная обречённость действия, сопровождаемого сознанием. Вовсе не случайно Прометей сопоставляется в этой статье Ивановым с Гамлетом. Познание открывает в действии противоречие, ограниченность, а значит – ложь, и это как раз то, что «делает нашего северного Гамлета бездейственным».

Вот как характеризует Иванов суть «Прометея»:

«Предлежащее лиро-драматическое произведение есть трагедия, – во-первых, действия, как такового; во-вторых, самоистощения действительной личности в действии; в-третьих, преестественности действия. В общем – трагедия титанического начала, как первородный грех человеческой свободы»⁸.

Здесь необходимо кратко напомнить концепт *героя* как идеального человека у Ф. Шиллера и Ф.И. Тютчева. Напомню, что у Шиллера в двух заключительных строках стихотворения «Идеал и жизнь» как идеал человека описывается Алкид (Геракл) – который добровольно возложил на себя тяжесть мук и, дойдя до высшей степени сострадания, взошел на костер самосожжения – по сути отказавшись от бессмертья (как это и рекомендует немного выше Шиллер: «Пред священным состраданием сгинет/Все бессмертное в тебе»). И именно в этом жесте отказа Алкид обретает бессмертье. Согласно мифу, он был вознесен на Олимп из пламени.

⁷ Такая трактовка серьезно отличается от классической, известной из Гесиода, где Пандора отдается в жены Эпиметею, незадачливому брату Прометея, со знаменитой «шкатулкой» в виде приданного, открытие которой Пандорой (в других версиях – Эпиметеем) по наущению Геры приводит в мир людей войну, нищету, голод, болезнь, обман и другие несчастья. Только более медлительная Надежда осталась в шкатулке после того, как ее захлопнула напуганная сделанным Пандора.

⁸ Вячеслав Иванов, *Собрание сочинений*, т.4. Брюссель 1987, с.157.

Шиллер описывает это так: «И свершив земное, роковое,/Мощно сбросил все людское/Чрез огонь очистившийся бог/И, полету радуясь впервые,/Устремился в выси голубые,/Кинув долу груз земных тревог»⁹. Огонь в данном случае, согласно смыслу стихотворения и концепции Шиллера, – искусство (где дух противоборствует страданию и открывает голубой купол небес). Констатирую главное касательно действия: действие сопряжено со страданием и отказом от бессмертия. Но только через действие способен человек встать вровень с богами и обрести бессмертие. В этом суть свободы и ее трагедия.

А вот строки Иванова, которыми он поэтически обрисовывает основную идею своей трагедии:

«Познай себя, кто говорит: “Я – Сущий”;
Познай себя – и нарекись: “Деянье”.
Нет человека; бытие – в покое;
И кто сказал: “Я есмь” – покою отринул.
Познай себя: свершается свершитель,
И делается делатель; ты – будешь.
“Жрец” нарекись, и знаменуйся: “Жертва”.
Се, действие – жертва. Все горит. Безмолвствуй»¹⁰.

Поражает почти дословное совпадение хода Иванова с ходом Шиллера. Разумеется, схема претерпела воздействие Гегеля (и неоплатоников): через творение человека действующего познает сам себя Бог, Сущий. Но само толкование действия поразительно совпадает: делатель, тот, кто есмь – по определению тот, кто отринул покой. Он определен своим будущим («ты – будешь»), и творение-к-будущему – акт религиозный, человек – жрец при своем собственном действии. У Шиллера такой религией является искусство, человек, обращенный к будущему – жрец прекрасного. Но действие как религиозный акт означает превращение действующего в жертву («и знаменуйся: “Жертва”»). Далее у Иванова стоит лаконичное «все горит». Выше, о Сущем до творения, Иванов говорит как о бытии в покое. В такой сцепке «все горит» отсылает к гераклитову «все течет». Но сам образ огня, подменяющий образ реки, отсылает нас ближайшим образом к жертвеннику, на котором приносит в жертву сам себя жертвующий (здесь в трагедии возникает сложное разворачивание символа огня – и как искр дионисовых, похищенных Прометеем и заключенных в людях, и как огненного действия, в ходе которого люди заключают завет с предвечным Зевсом через голову Зевса пресуществленного, и как трагедии самого Прометея, истощающего себя в своем превосходящем его природу творении). Это тождественно, по сути дела, в своей основе с тем образом огня, через который проходит Алкид. Различен только конец – оптимистический у Шиллера, трагический у Иванова. Несколько упрощая, можно сказать, что светлый конец стихотворения у Шиллера обусловлен его «предромантическим» мировоззрением человека конца восемнадцатого века и его стихотво-

⁹ Фридрих Шиллер, *Сочинения*, т.1. Москва 1958, с.192-193.

¹⁰ Вячеслав Иванов, *О действии и действе*, in Вяч. Иванов, *Собрание сочинений*, т.2. Брюссель 1974, с.157.

рение не ставится им в связь с концепцией его поздних трагедий. Стихотворение же Иванова, человека уже совсем иной эпохи, органически связано с его «Прометеем».

Но здесь следует не забывать и тютчевский обертон. У Тютчева есть известное двухчастное стихотворение «Два голоса». Если первый голос (первая часть двустушия) описывает борьбу, происходящую в пространстве между светилами и могилами как безнадежную, в противовес блаженству олимпийцев, то второе двустушие описывает олимпийцев как завистливого глядящих на безнадежно борющегося человека: человека побеждает лишь Рок, и это равнозначно победе над богами (то есть, обретение бессмертия). Тютчевское двустушие также перекликается с «Идеалом и жизнью» Шиллера, и можно даже сказать, что оно ближе ивановского стиха духу шиллеровской антиномии. Дело не только в том, что Тютчев также строит антиномию победы и поражения жизненной борьбы, но и – прежде всего – в том, что Тютчев прямо следует ходу шиллеровской мысли: от рабства перед лицом Закона (и Чувства) – к вырыванию победного венца из рук Богов теми, кто проявил волю к действию. Но введение рока, как бы уравнивающего судьбы людей с судьбами богов, расположение пространства между безмолвными звездными кругами и немymi гробами, сама непреклонность поражения – все это вводит сумеречный колорит, далекий от того светлого конца, какой мы читаем в заключении «Идеала и жизни», где нам рисуется светлый кронидов зал и сияющая Геба, подающая кубок амброзии бессмертия входящему победителю.

Иными словами, между Шиллером и Ивановым с необходимостью стоит Тютчев, как посредник в передаче и трансформации традиции. Иванов Тютчева превосходно знал, часто цитировал в своих статьях его стихи и считал его (наряду с Ф. Достоевским) основоположником «реалистического символизма» – то есть, того русского символизма, к которому относил себя и своих соратников. Восторжало его и цитировавшие выше строки Тютчева об океане и звездной славе. Он их неоднократно цитировал в своих работах и писал о Тютчеве как о великом поэте Ночи. Недостатком – или великой мудростью – Тютчева Иванов считал его позицию молчания. И когда Прометей восклицает в начале трагедии: «Будь слеп, ковац, и глух!» – то необходимо держать в уме ивановское толкование тютчевского молчания (реального поэтического и заявленного как эстетическая программа в знаменитом «Silentium»).

Так или иначе, но Прометей – как и его творение, человек – находятся в сложной зависимости от динамики соотношения человеческой свободы, деяния и предопределения у Шиллера и Тютчева. Это важно констатировать, потому что размещение деяния в топологии мира у Иванова находится в соотношении с тем, как понимали место человека в отношении с богами и тварным миром Шиллер и Тютчев. У Шиллера, как мы уже видели выше, разрешающим в свободу столкновение бездн чувства и закона было искусство. Но искусство, достаточно специфически понимаемое, – еще совсем не в смысле романтического ваяния гением шедевров, а в смысле создания «безусловной формы», то есть прекрасного общения, в котором совпадают гештальт личности и гештальт государства в качестве эстетического государства. У Тютчева же с его поэтикой ночи и молчания искусство (поэзия) отождествляется с ладьей, которая дает человеку возможность высвободиться на простор сновидения и войти в состояние гармонического

единения с древним хаосом. Поэтому деяние человека находится в зависимости от возможности прорыва дневного покрывала, наброшенного на силы бездны. Иными словами, «вырывание венца победы» из рук олимпийских богов – вовсе не вхождение в светлость кронидова зала, а просто проникновение в другое измерение, соразмерное молчанию гробов. Бессмертие человека обретается на ночной стороне жизни. Соответственно, и государственно-политическое измерение жизни лишь малой частью находится в круге дня и света (то есть, рациональной подрасчетности): Россия, в которую можно только верить, также размещается на ночной стороне существования, в мире сияющей бездны; ее дневной облик почти не фиксируем (бесконечность унылых равнин), но уверенное расположение на ночной стороне мира дает России решающее преимущество над ее заключенными в круге дня светлыми противниками. Поэтому федоровское выведение государства из кладбища или соловьевская теократия – вполне тютчевское по своей логике движение мысли.

Иванов также, без сомнения, следует этой тютчевской логике. Молчание и ночь для него – решающие основы построения действия как исходящего из органической целостности жизни и созидającego эту органическую целостность.

В этой связи уместно разобрать статью «Предчувствия и свершения. Новая органическая эпоха и театр будущего», опубликованную в «Золотом руне» в 1906 году (№5-6) и включенную затем в книгу *По звездам*¹¹.

Главная антиномия этой статьи – антиномия «романтизма» и «пророчествования». «Романтизм – тоска по несбыточному, пророчество – по несбывшемуся. Романтизм – заря вечерняя, пророчество – утренняя. Романтизм – *odium fati* [ненависть к року]; пророчество – *amor fati* [любовь к року]».

Для иллюстрации своей мысли Иванов приводит последнюю строфу стихотворения Шиллера «Путник» и противопоставляет его заключительную строчку (как она была – не вполне точно – переведена Жуковским: «Там не будет вечно здесь») стихотворению Владимира Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...» (1884). Если Шиллер, как романтик, по мнению Иванова, воспекает недостижимость, то Соловьев, по его мнению, поет о том, что в полночи он достигнет заветного храма. Интересна здесь характерная передержка: Соловьев вовсе не пишет о достижимости, он пишет о ценности движения и упорства, о самоутверждении надежды – совершенно в логике второго голоса из разбиравшегося выше стихотворения Тютчева «Два голоса». Более того, то, что идти лирический герой стихотворения Соловьева будет «до полночи», свидетельствует о прямом наследовании тютчевских тем и образов Соловьевым. Более того, тютчевский образ усугублен, полночь оказывается линией горизонта, по сути недостижимой. Если следовать собственной логике Иванова, в которой романтизм – тоска по несбыточному, а пророчество – тоска по несбывшемуся, – то скорее Соловьев будет романтиком, ибо именно он описывает цель как несбыточное (противопоставляя ей волю и надежду), а Шиллер будет – особенно если читать исходный немецкий текст – поэтом пророчеств, ибо как раз выплывший в океан путник и обнаружил у Шиллера, что его надежды «не сбылись».

¹¹ Вячеслав Иванов, *Предчувствия и свершения. Новая органическая эпоха и театр будущего*, in Вяч. Иванов, *Родное и вселенское* (1994), *op.cit.*, с.38.

Аберрация восприятия весьма любопытная, связанная, на наш взгляд, с сущностными элементами логики Иванова, коренящимися в тютчевском понимании смысла деяния. Вот как Иванов расшифровывает отличие от того, что ему представляется романтическим отношением к будущему:

«Романтизм вожделеет предметов своего мечтания. Мы же призываем то, что, быть может, предчувствуем как трагическое. Наша любовь к грядущему включает в себя жертвенное отрешение от иного, с чем мы связаны тончайшими органическими нитями, задушевными связями. Романтизм имеет одну только душу; пророчество – слишком часто! – две души: одну – сопротивляющуюся, другую – насильственно влекущую. Пророчество трагично по природе. Романтик слишком хорошо помнит, что его несбыточное – несбыточно; в его идеале нет упора и сопротивления, необходимых для жизни трагической. В мирозерцании романтика не жизнь, новая и неведомая, противостоит живой действительности, но жизни противостоят сновидения, “*simulacra inania*”¹². Романтизм внутренне чужд трагизма и потому, пока не кончает капитуляцией перед действительностью (и натурализмом в искусстве), – так любит трагическую пышность и внешний беспорядок страстей. Чуткая же душа пророчества часто боится и медлит разбудить уснувшие бури уже шевелящегося хаоса»¹³.

В этой цитате из статьи Иванова мы видим, каким образом он воспринял поэтику Тютчева. Для Иванова дело отнюдь не в противопоставлении жизни и сновидения. В этом случае образы искусства были бы только симулякрами. Поскольку искусство для Иванова теургично, есть творение и преобразование жизни (здесь он скорее близок Шиллеру, чем Тютчеву, хотя осознает это равным счетом наоборот), постольку тютчевский мир шевелящегося хаоса (и Иванов дает скрытую цитату из Тютчева) получает неожиданное истолкование потенциальности, мощь которой дремлет на ночной стороне жизни. Здесь имеется в виду, разумеется, серьезное влияние ницшеанской концепции активных сил. Трагический герой Тютчева, борющийся вопреки всему, обретает явные очертания Заратустры. Но ресурсы, которые привлекает Иванов для имплантации ницшеанских мотивов в русский контекст, – прежде всего извлекаются из Тютчева. Само молчание, *silentium*, Иванов рассматривает как трагическую потенциальность «реальной реальности», из которой черпает свои пророчества реалистический символизм: «символы наши – не имена; они – наше молчание»¹⁴. Тем самым тютчевскую поэтику сновидения Иванов серьезно углубляет. У Тютчева имелось противопоставление сна дневного и сна ночного. Только этот последний погружал человека в то состояние, когда можно было отвязывать челн и плыть по Океану. Иванов уточняет: сон, противостоящий жизни (у романтиков), рождает только симулякры, безжизненные и бесплотные подобия жизни, нечто, лишь укрепляющее жизнь в своем присутствии. Романтику, в понятиях поэтики Тютчева, принадлежит первый голос из «Двух голосов» – голос бесполезности борь-

¹² Бесплотные тени, пустые подобия, *simulacra inania somni* – сновидения (прим. Вячеслава Иванова).

¹³ Вячеслав Иванов, *Предчувствия и свершения* (1994), *op.cit.*, с.38-39.

¹⁴ *Ibid.*, с.39.

бы и бессмысленности жизни. Но тютчевский сон – более реален, чем жизнь в ее присутствии. Скорее живая действительность – один из симулякров, одна из актуализированных потенций реальной реальности «ночного сна» (молчания), и связь с этим состоянием тождественна трагической любви к грядущему, к трагическому жесту отказа от того, что связывает с «живой действительностью» (кругом света, дневным состоянием бытия у Тютчева).

И эту «наиреальнейшую потенциальность» молчания/грядущего Иванов обозначает понятием *новой органической эпохи*¹⁵. Опирается он, разумеется, прежде всего на Вагнера с его синтетическим искусством и на Ницше с его цельным человеком (но вспоминается и Ибсен, и Метерлинк, и неназванные «попытки религиозного синкретизма», под которыми можно понимать и Соловьева, и Федорова, и Блаватскую со Штейнером). Но когда Иванов, излагая точку зрения Ибсена, описывает ее как восстание против разбиения красоты на отдельные искусства и обособленные художественные создания, и требование слияния жизни с красотой – то Шиллер, разумеется, не может не прийти на ум.

Так или иначе, наступление новой органической эпохи связано для Иванова с синтетическим искусством всенародного действия и хоровой драмы¹⁶. Именно такого рода действие увенчивает сверхиндивидуальность символа, коренящуюся в «интимнейшем молчании индивидуальной мистической души»¹⁷. Опять-таки ретроспективно можно увидеть, что у Тютчева ночная сторона жизни действительно предполагает выход за состояние индивидуальной интроспекции, рационального контроля и океаническое состояние ночного «сознания». Состояние это наиндивидуальное, и даже можно было бы сказать, вслед за Ивановым, – анархическое, выходящее в переживание мистического всеслияния со славой звездной за пределы какого-либо контроля со стороны фиксированного начала, *архе*.

Но вот осмысление такого наиндивидуализма через театр принадлежит уже Иванову, наследнику Вагнера и Ницше. Развивая Ницше, Иванов полагает, что драма рождается из хорового дифирамба. «В этом дифирамбе все динамично: каждый участник литургического кругового хора – действенная молекула оргийной жизни Дионисова тела, его религиозной общины. Из жертвенного экстатического служения возникло дионисийское искусство хоровой драмы»¹⁸.

Но дальнейшая дифференциация частей изначального состава дифирамба приводит к отделению хора и от общины, и от героя – и его дальнейшему упразднению.

«Так вырастает театр (*θέατρον*), то есть, “зрелище” (*spectacle, Schauspiel*), – только зрелище. “Маска” актера уплотняется, так что чрез нее уже не сквозит лик бога оргий, ипостасью которого был некогда греческий герой: “маска” сгущается в “характер”»¹⁹.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, с.41.

¹⁷ *Ibid.*, с.40.

¹⁸ *Ibid.*, с.43.

¹⁹ *Ibid.*

«Развитие драмы обращается в демонстрацию математической теоремы, сцена – в арену, где вступают в бой гладиаторы страсти и рока. Толпа расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной»²⁰.

Это – не о римском цирке, это – о театре Шекспира, Корнеля и Расина.

Иванов ведь по сути дела противопоставляет свое понимание драмы театру: «театральная рампа разлучила общину, уже не сознающую себя, как таковую, от тех, кто сознают себя только “лицедеями”. Сцена должна перешагнуть за рампу и включить в себя общину, или же община должна поглотить в себе сцену»²¹. В этом свете иронический взгляд на театр у М. Булгакова, А.Н. Толстого, А. Блока и Л. Леонова предстает в интересном концептуальном освещении. Разумеется, можно вспомнить суровое отношение к театру Льва Толстого, критика Шекспира и театральной репрезентации как таковой. В этом случае само отрицание театра как зрелища, как производства симулякров Ивановым хотя и обустроено конкретными модными теориями конца девятнадцатого века, но коренится глубже этих теорий. Вероятно, само понимание человека исходя из ночной бездны за кругом света предполагает деэстетизацию искусства, выведение его за круг света и связанной с ним миметической онтологии. Стоит вспомнить, что и Платон отрицал театр как лицедейство. Сами попытки преодолеть театральный миметизм были широко распространены в первой трети двадцатого века. Они начались в годы написания статьи Иванова (и он вспоминает их и критикует за непоследовательность), они приобрели широкое распространение в двадцатые годы, в левом театре в СССР, у сюрреалистов, Арто и получили в лице Брехта крупного теоретика и практика «неаристотелевского театра». Мне не известны реакции Иванова на брехтовский театр – скорее всего, он был просто с ним не знаком. Но необходимо подчеркнуть – не входя в детали брехтовской деэстетизации театра, – что в отличие от Брехта, по сути, Иванов отрицал театр как таковой, отрицал саму репрезентацию и миметическую модель учреждения социальной связи. «Расколдовать чары театральной рампы», как того требовал Иванов, – это вообще выйти за пределы устанавливаемой эстетически онтологии восприятия.

Предлагая возродить исходную греческую форму трагедии, вернуть ей то, каким образом обеспечивалось совпадение активного и пассивного начал в ее восприятии (малый и большой хор, превращение партера в место для хорового танца и т.п.), Иванов заключает:

«Театры хоровых трагедий, комедий и мистерий должны стать очагами творческого, или пророчесственного, самоопределения народа; и только тогда будет окончательно разрешена проблема слияния актеров и зрителей в одно оргийное тело, когда, при живом и творческом посредстве хора, драма станет не извне предложенным зрелищем, а внутренним делом народной общины (я назову ее условным термином “пророчесственной”, в противоположность другим общинам, осуществляющим гражданственное строительство, – мирским или “царственным”, – и жизнь церковно-религиозную, – свободно

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., с.45.

приходским, или “священнодейственным”) – той общины, которая средоточием своим избрала данную оркестру. И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной»²².

Здесь, конечно, можно видеть и развитие вагнеровской идеи свободных театральных коллективов, и протоидеологию тотальной театральности, adeptом которой был Луначарский (истый вагнерианец и, вероятно, поклонник Иванова) и которая так активно воплощалась большевиками и их союзниками в жизнь в первые послереволюционные годы. Но мне кажется, что тогда мы сотрем то основное антитеатральное ядро, которое заключено в идеях Иванова. Вагнер, Луначарский и их последователи остаются в рамках ЭСТЕТИЧЕСКОЙ парадигмы искусства, тогда как Иванов в основе своей логики имеет отрицание этой эстетической установки восприятия. В этом смысле он наследует Шиллеру, а не романтикам (хотя и отождествляет их в единое целое в результате следования стереотипам восприятия своего времени), и его противопоставление «пророчествования» романтизму – достаточно точная констатация положения дел.

Если В. Беньямин с Б. Брехтом строили оппозицию политизации искусства и эстетизации политики (относя себя, в противоположность фашизму, к первой части уравнения), то логика Иванова – в выходе за пределы того горизонта, в котором политика и эстетика образуют пару, требующую разных форм соединения. Отрицая «романтизм» с его «тоской по несбыточному», Иванов отрицал, по сути дела, романтическую установку на онтологизацию искусства под знаком эстетики.

С этой точки зрения любопытно вернуться к начальным строкам стихотворения, которым Иванов резюмирует в статье «О действии и действе» смысл «Прометей».

«Познай себя, кто говорит: “Я – Сущий”;
Познай себя – и нарекись: “Деянье”.
Нет человека; бытие – в покое;
И кто сказал: “Я есмь” – покой отринул»²³.

В докладе «Достоевский и роман-трагедия» (послужившем, между прочим, одним из важнейших источников для литературной теории Бахтина), опубликованном в 1914 году, Иванов, говоря о реализме Достоевского, писал:

«Его (Достоевского) проникновение в чужое я, его переживание чужого я, как самобытного, беспредельного и полновластного мира содержало в себе постулат Бога как реальности, реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей, из коих каждой он говорил всю волю и всем разумением: “ты еси”»²⁴.

²² *Ibid.*, с.50.

²³ Вячеслав Иванов, *О действии и действе* (1974), *op.cit.*, с.157.

²⁴ Вячеслав Иванов, *Достоевский и роман-трагедия*, in Вяч.Иванов, *Родное и Вселенское* (1994), *op.cit.*, с.295.

Совпадающий по времени с первой публикацией «Прометей», доклад о Достоевском развивает ту же самую концепцию перехода от «Я-сущий» к «я есмь». И разъяснение ее в докладе о Достоевском демонстрирует ее радикальное отличие не только от романтической концепции героического (художественного) деяния, но и от гегелевской теории познания абсолютным духом себя через отчуждение. У романтиков, с их культом гения-личности, творящей мир как шедевр, высвобождающей божественный замысел из хаоса материала, «я есмь» есть непосредственная, интимнейшая реальность художественной интуиции. У Иванова утверждение реальности Творца – в утверждении чуждости «я есмь» творимых им сущностей. Мир не замыкается в шедевр, о котором можно сказать, как о зеркале, «хорошо весьма» и который ценен своей органической связью с волею творца, – но размыкается в экстатическую оргиастичность переживания полноты существования бесчисленным множеством монад, каждая из которых утверждает свое «я есмь». Творец – не в абсолютном господстве проекта над всем бесконечным движением частиц его Произведения, но – в акте любви, преодолевающем разделение абсолютной чуждости каждого «я есмь». И в этом – победа над смертью. Условно можно сказать, что перспектива – обратная по сравнению с романтиками. Творец проявляет свою волю в «собрании», а не в «произведении». Условно говоря, если взглянуть на это с точки зрения оппозиции аполлонического и дионисийского начал, то для романтиков из дионисийского волей гения к аполлоническому создается светлый мир спокойной гармонии. Для Иванова же аполлоническое проявляет себя как высшая форма дионисийского экстаза, как пресуществление абсолютной чуждости. Утверждается дионисийское, а не аполлоническое, и именно с дионисийским, в противовес романтикам, будет связано положительное начало бытия. Именно с этой точки зрения становится понятно, каким образом у Тютчева «океан объемлет шар земной» или «земная жизнь вокруг объята снами». Само это уравнение нуждается в ином, по сравнению не только с романтиками, но даже и с Шиллером, продумывании греческой топологии человеческого присутствия. Это требует, разумеется, переосмысления самого «хаоса» и вообще темной, космической стороны греческой мифологии. Именно об этом – «Прометей».

Вернемся теперь к проблеме закона – так, как она ставится в «Протагоре» Платона. Спор в «Протагоре», в рамках которого Протагором изложена своя версия мифа о Прометее, – спор о соотношении фюсиса и номоса, то есть, о натуральном праве, о месте и природе человеческого деяния в поддержании человеческого сообщества как порядка изономии. Протагор излагает наиболее позитивную и оптимистичную из всех версий мифа о Прометее. В этой версии нет ни страшной Пандоры, ни всей драмы взаимных ядовитых подарков (изложенной у Гесиода), ни даже вражды титанов и богов. Прометей и Зевс в версии Протагора – соработники в производстве из необходимо рождаемых Геей людей, как вида живых существ, адекватного прочим живым видам и фюсису вообще сообщества. Если животным их способности выживать даны сами по себе, то человек, чтобы коллективно выжить, должен соблюдать закон совместной жизни, и этот закон не дан «сам по себе», «естественным образом», но лишь как потенция.

Реализация ее зависит от способностей к чести и справедливости²⁵, пользование которыми возможно лишь сообща. Иначе говоря, человеческий закон – не природный, но «позитивный», то есть, конструируемый самими людьми сообразно их способностям к чести и справедливости («человек есть мера всех вещей»), софисты же призваны развивать в каждом эти потенциальные способности, упражняемые опытом совместной жизни. Напомню, что Протагор – видный демократ, друг, соратник и единомышленник Перикла. Он призван в Афины создать демократическую конституцию для вновь образованной Периклом афинской колонии. Сократ же опровергает в диалоге Протагора, доказывая, что знание добродетелей – природное дело, которое невозможно развить упражнением, и искусство совместной жизни предзадано людям как естественный закон. Этот последний софистические усилия скорее разрушают. Люди – органическое целое, распределяемое сообразно способностям каждого, и достаточно быть мастером своего дела, чтобы целое – полис – держалось. Иначе говоря, всю ту часть мифа, рассказанного Протагором, в которой после кражи искусств и огня (то есть, технических ремесел и возможности религии как принесения жертв на огне) люди живут по-прежнему без закона, собирающего их в полис, и требуется дополнительный дар Зевса через Гермеса, чтобы поправить ситуацию, – Сократ отвергает. Закон преддан человеку, а не конструируем, он вытекает из прочего мастерства-техне, то есть, из способности людей понимать возможности фюсиса-природы и в подражание природе создавать возможные в ней формы – включая полис как высшую из возможных природных форм. Таким образом отвергнуты сама возможность и необходимость разрыва между миром титанов и миром олимпийских богов, а с ней – и проблема человеческой свободы, то есть, основа всего демократического мироустройства. Лучшим и более умелым по природе по природе же дано господствовать над менее умелыми и худшими, менее по природе способными – вот аристократическая по сути модель сократовского «юснатурализма».

Если сквозь призму этого спора взглянуть на изложенную выше концепцию Прометея у Вяч. Иванова, мы увидим, что главная проблема Иванова, вырастающая в русском контексте, это проблема совмещения человеческой свободы как «титанического» проклятия, «ночной» стороны человеческого присутствия, с органической «дневной» хороводной совместностью жизни. Протагор с его конструктивизмом превращается в адвоката титанизма как мира трагичности индивидуального деяния смертного человека, а Закон – в номос дня, в котором совпадают природное, натуральное, и олимпийское, божественное. Посредником между титаническим индивидуализмом деяния и олимпийской изономией служит Дионис распятый, разрываемый-пожираемый божественный младенец, священная жертва, культ которой, собственно, и есть искусство (и театр как его высшее проявление). Искусство же и есть та сила, которая обеспечивает соединение индивидуального деяния и природного/божественного закона – в трагедии-мистерии. Театр и храм, искусство и религия у Иванова тождественны (здесь он идет за той альтернативой, которую предложил аристократической концепции полиса Ари-

²⁵ *Aidos* и *dike*, в русском переводе «Протагора» – *стыд* и *правда*, что не вполне точно. Обсуждение возможностей адекватного перевода этих терминов см. в книге Platon, *Protagoras*. Paris 1997, p.231-238.

стотель, сделавший трагический катарсис центральным пунктом политического воспитания демократического гражданина – в противовес Платону, считавшему театр и искусство вообще ложным техне, которое из полиса надо изгнать). Искусство, творчество у Иванова, вслед за Тютчевым (и Пушкиным) оказывается ночным, незаконным, «конструктивным» делом, соединенным с природной изономической установленностью мира экстатически, жертвенно. Т.е. «позитивное право», которое бы безлично – изономически – скрепляло собой «дневной мир» человеческой повседневной жизни, в этой конструкции мира есть вторичный и по сути непрерывно проблематизируемый артефакт ночной жизни непрерывного пересоздания Космоса и Человека. Лишь перманентная театрализация примеряет изономию дневного и индивидуальный творческий акт ночного мира. И не просто театрализация, а «театр жизни», в котором гибель героя-творца – необходимое основание «дневной» (космической в смысле греков) солидарности человеческого коллективизма. Целая философия устройства Закона революционным действием, отсюда вытекающая, совсем не стала достоянием кучки эстетов-символистов-эзотериков. Иванов имел огромное влияние на Луначарского, на пролеткульт, на еврейновскую концепцию тотального театра – и на всю ту роль, которую отводили театру большевики в эпоху военного коммунизма (напомню, что театр был непременным атрибутом любой красноармейской части, отголосок этого мы находим в театральных эпизодах *Хождения по мукам* А.Н.Толстого, в которые у него вмонтирован и конец романа, заканчивающегося сценой съезда в помещении Большого театра). Но и вообще сам большевистский принцип конституирования самоупражняющегося всемирной революцией государства диктатуры пролетариата не может быть понят как юридический принцип вне того контекста, который дал отношению героя, деяния и человеческой солидарности Вяч. Иванов. Центральным органом конституирования и поддержания закона в государстве пролетарской диктатуры оказывается согласно конституции ЧК – чрезвычайная комиссия, действующая по сути вне конституции, хотя и описанная в первой советской конституции в отдельной главе. Это «исключающее включение» чрезвычайного порядка (исключительного положения) как основы конституирования всей «изономии» новой жизни²⁶ наиболее полно в русской интеллектуальной традиции осмысленно именно Вяч. Ивановым – и именно потому он остается так важен все двадцатые и тридцатые годы для новой рождающейся советской культуры.

²⁶ Карл Шмитт, наиболее знаменитый из тех, кто осмыслил начиная с начала двадцатых годов новую роль «исключительного положения», делал это, именно отвечая на советский опыт и осмысляя его проблемы. Сопоставление метафизики Карла Шмитта и метафизики Вяч. Иванова – отдельная интересная проблема, которой мы не можем уделить здесь место. Ранний Карл Шмитт, поклонник метафизических поэм Деблина и католический мистик, имеет много интересных пересечений с тем, что разрабатывалось в те же годы Вяч. Ивановым в Петербурге. К сожалению, никаких данных о знании ими работ друг друга до сих пор не обнаружено, хотя не исключено, что дальнейшая расшифровка дневников К. Шмитта и публикация римского архива Вяч. Иванова дадут какие-то новые данные о таких «пекличках».

2. Лосев и Голосовкер: спор о титанах

Сколько-нибудь подробный перечень всех тех, кто так или иначе зависел в своем творчестве и мысли в двадцатые-тридцатые годы от метафизического космоса, созданного Вяч. Ивановым, вероятно, огромен. От Мейерхольда до Эйзенштейна, от А.Н. Толстого до Л. Леонова – репертуар влияния Вяч. Иванова весьма обширен и до сих пор исследован недостаточно. В рамках интересующей нас темы отношения прометеизма и закона/космоса/изомии мы можем коснуться лишь очень небольшого круга имен и дискуссий, которые нам представляются особенно значимыми для нового советского контекста. Наиболее очевидным в этой связи мне представляется растянувшаяся на долгие десятилетия дискуссия А.Ф. Лосева и Я. Голосовкера.

В споре с И. Нусиновым, выпустившим в 1937 году книгу *Вековые образы*, где, разбирая «Прометея» Вяч. Иванова, И. Нусинов трактует ивановского Прометея как насильственно раскалывающего целостную полноту, – А.Ф. Лосев пишет:

«Прометей, как он рисуется в трагедии Вяч. Иванова, отнюдь не воплощает собой картину окончательного и вполне идеального состояния мира и жизни. То, что в мире является цельным и неделимым, необходимо должно расчлениваться и уже потом, после расчленения, опять воссоединиться в исконной полноте и целостности, но без потери своей индивидуальности. Конечно, Прометей, как титан, есть нечто одностороннее и для Вяч. Иванова, и для античности, и для нас, теперешних деятелей и исследователей. Но эта прометеевская раздельность должна воссоединиться в исконной полноте, и потому исторически она абсолютно необходима»²⁷.

Интересно то, что, продолжая защищать Иванова от обвинений, формулируемых Нусиновым, в контрреволюционности и антисоветскости, Лосев напрямую сопоставляет так понятый сюжет «Прометея» с революцией:

«...революция вовсе не мыслит своего дела как всеобщую и необходимую войну, борьбу и драку. Революция совершается вовсе не для этого, а для достижения всеобщего мира, для уничтожения эксплуатации одним человеком другого человека, для мира и благоденствия. Если И. Нусинов критикует Прометея Вяч. Иванова за его односторонность, то в еще большей степени И. Нусинов должен был бы критиковать и вообще всякую революцию»²⁸.

По мысли Лосева, Иванов подымает революцию до уровня космогонического деяния. В этом смысле для Лосева Прометей Иванова – «важнейший из всех “досоциалистических Прометеев”, сопоставимый только с Прометеем Шелли

²⁷ Алексей Лосев, *Проблема символа и реалистическое искусство*. Москва 1995, с.241-246 – цитируется по: Вячеслав Иванов, *Архивные материалы и исследования*. Москва 1999, с.149-152. В данном издании представлена подборка высказываний А. Лосева в разных книгах о Вяч. Иванове.

²⁸ *Ibid.*, с.152.

и неоплатоников, и превосходящий их»²⁹. Революция как космогонический процесс – в том числе, и проектируемый на «буржуазную психологию периода ее катастрофического распада», то есть, на русскую революцию в контексте современных ей событий двадцатого века – предстает для Лосева, через призму построенный Иванов, процессом «преодоления титанизма», столь же необходимо проявляющего себя, сколь и необходимо преодолеваемого в «мировой цельности». Титанизм – сродни гегелевскому отчуждению – отпускание себя целым в ущербную индивидуацию, чтобы вернуться обратно обогащенным конкретностью. Вне зависимости от того, насколько соответствует такой взгляд на ивановского «Прометея» сути ивановского замысла, интересно констатировать это сопоставление титанизма и революционного действия. Фигура Прометея, похищающего огонь и отдающего его людям, была популярным образом революционной фразеологии. Он не только жертвовал собой ради людей, но и бросал вызов богам – что в контексте марксистского атеизма делало его чрезвычайно положительной фигурой. Достаточно вспомнить горьковского Данко, вырывающего себе сердце, чтобы освещать путь. Прометей был излюбленным образом Луначарского. Прометей в книге И. Нусинова тоже защищался от Иванова как революционер, оболганный декадентом. С Прометеем сравнивался позже сам Маркс в известной биографии Г. Серебряковой³⁰.

Поэтому толкование Прометея как ущербной – хоть и необходимой – индивидуации входило в полемическое противостояние с главной линией коммунистической пропаганды (к чему Лосеву, после *Диалектики мифа*, было не привыкать). Но важно заметить, что полемика возникала не вообще со всей коммунистической пропагандой, а с ее определенной линией (что и подчеркивалось Лосевым в его более поздней записи, сравнивающей титанизм и революцию). Poleмика велась с линией индивидуализма, с тем, что сам Лосев именовал «модернизмом» и «буржуазным сознанием». До известной степени он вполне вписывал коммунистическую революцию в свои представления о мире. Но только до той степени, в которой коммунистическая революция самоотрицала себя в новом синтезе. Люди десятых-двадцатых годов, активные деятели революции в том числе, представлялись Лосеву носителями титанического начала – как бы космологической ипостаси модернизма. Их индивидуализм, культ героизма и т.п. атрибуты идеологического идеала двадцатых годов вполне соответствовали тому, с чем вел, как с титанизмом, полемику Лосев. Но нельзя не отметить того, что рождавшаяся сталинская идеология такой тип поведения и идеологической нормативности по сути отрицала. Отрицание это длилось долго, и в основном завершилось только после Отечественной войны. В этом смысле Лосев оказался союзником одной идеологической линии коммунистического действия в борьбе с другой.

Стоит напомнить, что знаменитые инвективы Лосева в *Диалектике мифа* против пролетариата, зачитанные Л. Кагановичем с трибуны партийного съезда, на деле вписываются в платоновское представление о природе закона и устройства человеческого сообщества как устраиваемого «неравенством по природе». Внутри

²⁹ Ibid.

³⁰ Галина Серебрякова, *Карл Маркс*. Москва 1966.

коммунизма существовала своя борьба «позитивистов» и «натуралистов». Это была борьба тех, кто считал, подобно Протагору, что закону можно всех научить, потому что в основе такого обучения лежит личная свобода, и тех, кто считал, что существуют «природные законы», которым надо следовать, и в соответствии с которыми важно «личное техническое умение». Распределение этого последнего неравномерно, но именно это неравенство – основа сложения сообщества³¹. Прихотливая история борьбы этих двух точек зрения в истории советской коммунистической идеологии – тема отдельного исследования, одни и те же люди легко переходили от «позитивизма» в «юснатурализм», или смешивали то и другое. Однако сквозь хаос эклектической борьбы двадцатых годов постепенно проступают контуры сталинской «консервативной революции», восстанавливающей имперский «аристократический органицизм» во взглядах на человеческое сообщество, в котором правят традиция и аристократический культ мастерства³². При участии самого Лосева, видимо, был составлен в ОГПУ реферат его ненапечатанных «Дополнений к *Диалектике мифа*», который, по всей видимости, был внимательно прочитан на самом верху, не исключено – что самим Сталиным³³, так что Лосев находился со своими «платоновскими» взглядами на коммунизм в новом тренде.

Именно в этом контексте, вероятно, необходимо толковать такой экзотический факт, как всемерную поддержку Лосева М.Б. Митиным во второй половине тридцатых годов, дошедшую до того, что он даже рекомендовал в 1941 году бывшего зэка, преданного анафеме самим Кагановичем на партийном съезде и М. Горьким в статье «О борьбе с природой» (1931 г.)³⁴, в члены-корреспонденты Академии наук. Титанизм оказался одним из важнейших, хотя и мало заметных на поверхности, символических узлов в перенесении идеологических приоритетов. В этой связи крайне любопытно наблюдать полемику двух спосо-

³¹ Стоит напомнить, что *Собачье сердце* Михаила Булгакова – реплика в этом споре, в которой высмеивается протагоровский «социальный конструктивизм» и демонстрируется мощь природного закона.

³² Вспомним знаменитое сталинское: «Он мастер?» (в телефонном разговоре о Мандельштаме с Пастернаком), инициировавшее название романа Михаила Булгакова *Мастер и Маргарита* – еще одной реплики в большой политико-идеологической дискуссии о Законе и Революции. Это звание «мастера», как покажет М. Булгаков, весьма амбивалентно, и размещает именуемого между богами и их протагонистами (в картине мира М. Булгакова – между Дьяволом и Христом).

³³ Некоторые интересные обстоятельства, связанные с этим эпизодом жизни и творчества Лосева, разбираются Леонидом Кацисом в цитируемой ниже его статье в журнале «Логос». К сожалению, полученные из КГБ вдовой Лосева А.А. Тахо-Годи рукописи Лосева, приобщенные к его делу в ОГПУ, в том числе и этот реферат, опубликованы либо в сильно отредактированном виде, либо не опубликованы вовсе, так что пока вполне составить себе представление о характере лосевской рукописи и реферата не представляется возможным.

³⁴ Максим Горький, *О борьбе с природой*, in М. Горький, *Собрание сочинений в 30-и томах*, т.26. Москва 1949-1956, с.186-198. Об этом эпизоде см. статью Леонид Кацис, *А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, Максим Горький. Ретроспективный взгляд из 1999 года*, «Логос», 1999, 4 (14).

бов понимания архаической античности, представленных Лосевым и Голосовкером. Голосовкер был хорошо знаком с Лосевым в двадцатые-тридцатые годы и именно тогда, по всей видимости, сложилось их противостояние.

Оно было неизбежно, если верить тому, что сам Голосовкер, вышедший в 1939 году из лагеря (куда он попал в 1936 году), пишет в своей автобиографии *Миф моей жизни*³⁵, где описывает сюжет произведений, оставленных на хранение у знакомого художника и сожженных тем перед смертью. Среди его произведений, упомянутых в автобиографии, упоминается юношеская мистерия *Великий романтик*, первоначально созданная в 1913 году, а затем переделанная в 1919 году. Нельзя не заметить, что обе даты совпадают с датами появления «Прометея» Вяч. Иванова. Описываемый Голосовкером сюжет *Великого романтика* напоминает сюжет «Прометея», но вместо Прометея в качестве первородного сына Земли выступает Сатана, а вместо Пандоры – первородная дочь Земли Греза. Таким образом, Сатана и Греза – титаны. В отличие от Прометея Сатана, пришедший дать людям счастье, сам получает от них мудрость, знание о прошлом людей, приведшем их к вратам непостигаемого (то есть, неизвестной им тайны жизни и смерти). Сатана постигает, что счастьем мешают грезы, ради свободы надо отвергнуть небо. Но и отказ от грезы, и перенос ожидания чуда на землю не решает дела: тайна жизни оказывается смертью, а победа смерти с опорой на Землю невозможна. Сатана, как романтик, то есть, взыскующий неба, оказывается неуместен в этом мире, где люди надеются победить смерть на основе Закона, то есть, стать господами жизни. Сатана изгоняется, и возводится каменная стена, отделяющая постижимое от непостижимого. Разум и покой механической жизни приходят к торжеству, титанида Греза возвращается в виде «старухи жизни». Как видим, основные мотивы «Прометея» угадываются в *Великом романтике*, эта линия – драма познания смерти и механической разумности (связанной с Пандорой) – была присуща и мистерии Иванова. Отвержение Прометея, а с ним и Неба также присутствует у Иванова. То есть, уже здесь можно констатировать, что Голосовкер совсем иначе трактует проблему титанизма и совсем иначе воспринимает «Прометея», чем это представлено у Лосева.

К 1933 году относится статья Голосовкера (скорее всего, не сохранившаяся) о Прометее в античности и рецепции его в русской и западноевропейской поэзии. Выйдя из лагеря в 1941 году, в Отделе античной литературы Академии наук Голосовкер пытался сделать на основе этой статьи доклад, названный «Прометей и Геракл». То есть, тема эта для Голосовкера – принципиальная. Доклад был отвергнут ввиду спорной трактовки образа Прометея у Маркса³⁶. Трудно судить о содержании этого доклада, но, по всей видимости, речь шла об освобождении Прометея от всякого налета олимпийской символики (как о том и свидетельствует сумрачный сюжетный колорит *Великого романтика*). В 1955 году, при первых признаках «потепления», Голосовкер издает в Детгизе *Сказания о титанах*, – якобы для детей, но вовсе не детям адресованные. В этой удивитель-

³⁵ Яков Голосовкер, *Миф моей жизни*, in Я. Голосовкер, *Засекреченный секрет*. Томск 1998, с.15-22.

³⁶ См. вводную статью к *Засекреченному секрету* (in Яков Голосовкер, *Засекреченный секрет* [1998], *op.cit.*, с.8), написанную Сигурдом Шмидтом.

тельной книге, едва ли имеющей аналог³⁷, Голосовкер, вводя элементы вымысла в греческие мифы, предпринимает попытку высвободить титанов из-под образа темной силы, противостоящей олимпийским богам как силе светлой, то есть, деолимпизировать греческие мифы и вернуть им тот изначальный дух, который они имели в собственно космогоническую эпоху греческой мифологии. В 1961 году последовало продолжение «Сказания о кентавре Хароне». Невозможно, разумеется, однозначно говорить об общей концепции Голосовкера в условиях неопубликованности, а частично и безвозвратной гибели многих его работ. Но имеющиеся материалы свидетельствуют, что происходила если не явная полемика с лосевским пониманием Прометея и мифологии вообще, то, по крайней мере, развитие иной линии ивановской мысли. Если оба в той или иной мере и следовали фигуре «Диониса распятого», то Голосовкер упор делал на Дионисе, а Лосев – на распятом. Лосев – христианский мыслитель, и возврат мировой гармонии «на новом уровне» является для него главным вектором мировой и русской истории. Олимпийское несомненно пользуется его симпатией в противоположность титаническому. В своей поздней книге об эстетике Возрождения он с обличительными интонациями живописал титанизм как темную сторону Ренессанса. В своих поздних книгах о мифологии Лосев упоминал «Сказания о титанах» как хорошее изложение греческих представлений о них – и в этом, вероятно, следует ощущать известную долю сарказма, учитывая общее отношение Лосева к титанизму. В его космологическом ощущении мира титанизм был тем темным, хотя и необходимым началом, которое должно быть преодолено христианством, и прямой проекцией титанизма на землю является большевистская революция и ее деятели (особый упор Лосев делал на евреях и иудаизме, что, вероятно, вызвало особый интерес Сталина, среди политических врагов которого было немало евреев – старых большевиков).

В противовес этому Голосовкер видел в титанизме свободное, непокоренное, обогнанное начало мира, давление на которое Кронидов и приводит к тем эксцессам, одним из которых явилось растерзание Диониса. Человек должен принять титанов – если судить по *Великому романтику*, в *Сказаниях о титанах* эта тема практически не подымается, лишь образ Харона несет на себе память о древней мудрости – и лишь тогда он обретет счастье. В *Великом романтике* мы видим и критику федоровской теории «неумирания» как механически-разумного дела, неверного в своих посылах. Харон, по сути – реплика платоновского Протагора, титаны несут свой закон в себе, конструируют его из своей анархистской свободы, отрицающей всякую изномию.

Здесь речь идет об индивидуальном героическом начале и его месте в космогонии, то есть, в мистериальном прозрении сквозь советскую жизнь ее космической мерности. Но не просто о личном начале как таковом, а о двух различных онтологиях, двух разных пониманиях космоса. Энергичная диалектика и исихазм Лосева предполагали, в конечном итоге, космос аполлонический, упо-

³⁷ Фридрих Юнггер (Fridrich Jünger), шедший сходными путями, в своей книге *Griechische Mythen* (Frankfurt am Main 1947), касаясь титанов, куда менее радикален, как менее радикален и его знаменитый брат Эрнст, пишущий о «восстании титанов», но мечтающий о «возвращении богов».

каивающийся в универсальном синтезе, ведомом божественными именами. Имагинативный абсолютизм Голосовкера – космос дионисийский, наполненный боре-нием, личным устройством счастья. Космос Лосева – не дело личного усилия, но дело божественной благодати. Голосовкер этот вывод отвергает. Можно сказать, что Голосовкер следует шиллеровскому трагизму и «спасению красотой», тогда как Лосев с презрением отзывается о позднем Шиллере, предавшем романтику ради «ущербного и вырожденческого Просвещения» и поставившем в конечном итоге искусство выше морали³⁸. Диалектический синтез всего и вся – фактически главный метод и ценность лосевской системы. В мире Голосовкера диалектика отрицается, там нет места спекулятивному синтезу, между землей и небом – война, война правит миром, мог бы сказать он вслед за Гераклитом. В позиции обоих есть, конечно, много нюансов, которые не могут здесь обсуждаться, но исторически, в широком контексте, необходимо, вероятно, установить преемственность Лосева проекту Вагнера, проекту тотального произведения, расширенного до масштабов космоса (с упомянутым выше уточнением о примате, все же, этического над эстетическим). Тогда как Голосовкер, не принимая диалектики и превращая борьбу с олимпийскими богами в способ устройства космоса, находится в иной логике – логике негенерализуемых локализаций, в логике непри-сваивающего разрешения трагического напряжения. Иными словами, Голосовкер не принимает Гегеля, тогда как Лосев его принимает, и этот выбор – вполне смы-словой поведенческий выбор в постреволюционной ситуации, эволюцио-нирующей от двадцатых к сороковым годам. Космос Лосева – олимпийский, рассчитанный, скульптурный, размеренный, эстетически оформленный, изоно-мический. Космос Голосовкера – космогонический, до-олимпийский, вздыбли-вающийся и непредсказуемый, населенный полагающими себе закон своими деяниями ни на что не похожими титанами, страшный своими зияниями³⁹. Что у Иванова связано как Трагедия – в советском мире распалось на части, непри-миримые больше между собой. Авангард и консервативная революция стано-вятся двумя полюсами Революции. Для титанизма в духе Голосовкера чрезвы-чайное положение – творческая основа миротворчества. Для антититаниста Лосева единое всесинтезирующее целое позитивного закона обеспечивает миру порядок в Духе, и в этом мире есть лишь один господин чрезвычайного положе-ния – Пантократор, опирающийся на философов-монахов⁴⁰.

³⁸ Здесь уже камень и в огород самого Вяч. Иванова.

³⁹ Видимо, это и есть в проекции на античность то, что в тридцатые годы приобрело имя «троцкизма».

⁴⁰ Сталин, при всем его тяготении к лосевской концепции мира, как политик скорее раз-мещен в «середине мира» между космогонией Голосовкера и космосом Лосева. *Мастер и Маргарита* – роман о Сталине по собственному мнению Булгакова – Воланда, Мастера, Пилата тоже размещает в «середине мира».

3. Леонов, Бахтин, Лысенко...

В этой перспективе интересно также сказать несколько слов о романе Л. Леонова *Дорога на океан* (1934)⁴¹. В этом романе (главный герой которого – Океан) как во времени, так и в пространстве титаны поминаются и не раз, хотя роман, на первый взгляд, – о жизни замполита одной из советских железных дорог. Фамилия главного героя – Курилов. Обычно – географически – буквально понимая дорогу на океан, его фамилию толкуют как отсылающую к Курилам, Курильским островам. На прямой вопрос, так ли он сам понимает смысл этой фамилии, Леонов отвечал отрицательно и говорил, что здесь звуковой образ. Но звуковой образ чего? К чему он отсылает? Курилов – ученик литейщика, знатного мастера Ефима Демина («В дни больших технических побед о нем напоминали в газетах наравне с героями ударной стройки»⁴²). «Когда-то, на заре большой жизни, он посвящал Алешку в высокие тайны формовочного искусства»⁴³. Формовочное искусство в свете шиллеровского гештальта звучит уже любопытно. Но главное, что мы отметим, – профессию литейщика. Литейщик этот хром и ходит с палочкой. Речь здесь не только и не столько о Гефесте, сколько вообще обо всем широком круге хтонических порождений. «Хромой литейщик» – богатый образ, отсылающий нас и к Япету, и к поверженным Титанам, и к побежденному временно Тифоном и обездвиженному перерезанными сухожилиями Зевсу, и к самому побежденному Тифону, заключенному в пещере Сицилии – словом, ко всему тому кругу ассоциаций, которые связывались в греческой мифологии с литьем металлов и вулканизмом. Курилов не только ученик литейщика, но и, тавтологически удваивая свою фамилию, – курит трубку. Словом, курение, исходящее от Курилова, образ чего-то грозного, хтонического, похожего на вулкан, действительно подчеркивается Леоновым (и, кстати, утрата им своей трубки – знак его вскоре последовавшей смерти). Курилов стремится с поразительной настойчивостью на океан, и отношения с океаном – какое-то неясное, иррациональное воспоминание (какое может быть воспоминание об океане у никогда его не видевшего человека?). И он – совершенно в духе ранней мистерии Голосовкера – ищет своим жизненным путем иные способы неумирания, чем медицинско-механические...

Иными словами, в лице Курилова мы не просто сталкиваемся с «прометеевским началом» человеческой личности – что было в те годы расхожим штампом. Курилов настойчиво напивается символикой архаического произрастания, символикой титанизма, лежащей в основе фигуры Прометея. Интересен в этой связи эпизод в конце романа. Курилов, которого готовят к операции, беседует со своими посетителями – сестрой Клавой и Зямкой, а затем со своим соседом по палате, знатным изобретателем. Курилов рассказывает все время, отведенное на визит, достаточно любопытную сказку-притчу – о белом слоне, который стал богом в маленьком королевстве, но испугался звуков труб, понес,

⁴¹ Леонид Леонов, *Дорога на океан*, in Л. Леонов, *Собрание сочинений в 10-и томах*, т.6. Москва 1961.

⁴² *Ibid.*, с.34.

⁴³ *Ibid.*

топча все на своем пути, был убит, а затем превращен в механического, исправно принимающего участие во всех положенных ему церемониях.

И вот окончание этой главки, уже после ухода Клавдии с Зямкой:

«Вдруг изобретатель заворчался:

– А вы вовсе не атеист, Курилов! – сказал он со злым смехом. – Я по поводу вашего слона. Атеизм – это неведение бога. А вы отрицаете, деретесь с ним, совсем непочтительно отнимаете у него вселенную. Я про себя не говорю. Я умираю и злюсь на все, что может быть виновно в причиненной мне низости. Поэтому я готов признать все, что сумеет доставить мне исцеление или стать предметом ненависти. А вы-то!... нельзя же злиться на то, чего нет! Правда?

Курилов молчал с минуту.

– В следующий раз я познакомлю вас с сестрой. Вы попробуйте развести ей вашу философию... она просто обожает таких собеседников! – И ему показался жалким этот цепляющийся за свою тень на земле человек»⁴⁴.

В этих словах, как и в предшествующей им притче, заключено множество смыслов. Но здесь мы хотим зафиксировать тот, что связан с активным отрицанием бога. Курилов именно что не атеист, его отрицание бога – в той же логике, в какой и отрицание бога Прометеем и голосокеровским Сатаной. Это – титаническое отрицание олимпийского начала, титаническое отрицание неба и рассчитанного космоса. Клавдия, а с ней и этот расчислитель механических ухищрений находятся не рядом с Куриловым, а в антагонизме с ним, они просто из другого мира (хотя пожелание Курилова познакомить изобретателя со своей сестрой звучит скорее как угроза – Клавдия, скорее всего, не переносит никакого отвлеченного мышления, выражающего себя иначе, чем в партийных директивах). Собеседник Курилова боится смерти, он возводит между собой и Неведомым ту самую стену, о которой пишет в своей мистерии Голосокер. Человек этот вынужден цепляться за свою тень на земле – и его место рядом с тем самым механическим слоном, в такт кивающим и открывающим глаза. Этот человек мертв и без того, чтобы переезжать Океан, – он тень уже здесь, в мире расчисленных установлений. В противовес ему Курилов – сын земли – спокойно стремится на океан, Туда, и он не боится Неведомого. Он уходит в Неведомое от олимпийской расчисленности космоса, из мира Клавдии и Глеба Протоклитова как существо, не ведающее смерти – и потому его тень, подобно горе, возвышается на просторах воображаемой вселенной Океана, куда отправляется автор с Алешой Пересыпкиным (приемным сыном Курилова) в своем воображаемом путешествии в будущий коммунизм. Нет сомнений, что Курилов – человек из голосокеровского понимания титанизма и Прометея, а вовсе не из лосевского.

Интересно в этой связи упомянуть работу о Рабле Бахтина. В исследованиях уже отмечалась, разумеется, связь этой книги с проблематикой дионисийского и аполлонического. Но в контексте того оборота, который приобретает эта проблема в ходе дискуссии о титанизме, уместно заметить, что работа Бахтина органически встраивается в эту дискуссию – на стороне однозначного предпо-

⁴⁴ *Ibid.*, с.466-467.

чтения «оргиастического» «организованно-официальному». Н.К. Бонецкая, долго исследовав Бахтина, в конце концов пришла к выводу об антихристианской, чуть ли не сатанинской природе его концепции карнавала и вообще всего его творчества⁴⁵. Мне кажется, что здесь Бахтин просто вырывается из контекста эпохи и своей собственной эволюции. Зависимость многих ключевых тем Бахтина от Вяч. Иванова хорошо известна (см. к примеру, примечания к 5 и 2 тому *Собрания сочинений* Бахтина, где упоминается связь ключевых концептов Бахтина, соответственно, с анализом Н. Гоголя⁴⁶ и Ф. Достоевского⁴⁷ Вяч. Ивановым). Но интересно увидеть связь умонастроения Бахтина с умонастроением Голосовкера (также, между прочим, написавшего книгу о Достоевском⁴⁸) – то есть, с одной из возможных интерпретаций ивановского толкования отношения дионисийского к аполлоническому. В обоих случаях речь идет об измерении, экстатически разрывающем жесткую определенность размеренного космоса, у Бахтина этой последней даже дается ряд вполне актуальных имен – официальная культура, авторитетное письмо и т.п. И диалог, и карнавал направлены на одно и то же у Бахтина – преодоление замкнутого и ригидного, эстетически определенного целого, телеологически себя контролирующего. Его олимпийски-аполлонический характер, если иметь в виде глобальную концепцию Иванова, от которой в значительной степени ветвится бахтинская мыслительная ветвь, несомненен. В этой связи христология Бахтина, как и вообще эволюция христианской мысли в тех скрытых формах, в каких существовала она начиная с тридцатых годов, требуют дополнительного прояснения сквозь призму «Диониса распятого». Вероятно, требует осмысления и более общий фон ницшеанского антихристианства – вовсе не атеистического – чтобы реконструировать формы рецепции христианства в советской культуре тридцатых годов. Но сказать, к примеру, однозначно, что Голосовкер или Бахтин – противники христианства (или, к примеру, певцы язычества), – совершенно исказить реальную проблему. Речь идет о борьбе с «олимпийством» во всех его формах, с эстетически и теологически совершенным в себе «техносом», трансцендентально контролируемым целым, к которому равным образом относится и олимпийская мифология, и принявшая функции власти церковь, и бюрократическое сталинское государство. Успешность – пусть и относительная – концепции Лосева, а также уровень его поддержки во второй половине тридцатых годов свидетельствуют, пусть и косвенно, о том, что концепция антититанизма и аполлонизма, его смесь неоплатонизма и гегельянства в телеологически устраиваемом универсально-космическом целом

⁴⁵ Наталья Бонецкая, *Бахтин глазами метафизика*, «Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1998, №1, с.103-155. Н. Бонецкая не одинока, схожих взглядов придерживаются, например, ученик Бахтина Ю. Селезнев и ряд других литературных критиков «патриотической направленности».

⁴⁶ Михаил Бахтин, *Собрание сочинений*, т.5. Москва 1997, с.421.

⁴⁷ *Ibid.*, т.2. Москва 2000, с.434-436.

⁴⁸ Отдельной интересной темой является личное знакомство Бахтина и Голосовкера в двадцатые годы в Ленинграде. Тема эта совершенно не исследована, хотя знакомство такое наверняка имело место, и взаимовлияние двух последователей Вяч. Иванова и неокантианства вполне возможно.

совпадала по своим интенциям с теми вполне реальными процессами телеологического устройства бюрократического целого сталинского государства, которые интенсивно свершались начиная со второй половины двадцатых годов и приобрели скульптурные формы во второй половине тридцатых. И здесь не имеет значения, поддерживал ли Лосев реально сталинскую государственность (хотя в своей универсально-космической концепции становления божественного космоса он, несомненно, считал этап «социалистического прометеизма» вполне закономерным этапом, пусть и имеющим отношение к инфернальным силам). Речь идет об эпистемологической карте процессов, имевших место начиная с конца двадцатых годов.

В этой связи стоит упомянуть и еще два явления, имевших значение для этой эпистемологической картографии. С одной стороны, необходимо с титанизмом сопоставить борьбу с фашизмом и за спасение культуры от варварства, которую вели до 1936 года Бухарин и Горький. Фашизм – здесь лишь маска для обсуждения социально-политических процессов, имевших место после 1929 года в самой советской России; главная мишень Бухарина, а затем и поссорившегося со Сталиным Горького – сам сталинский политический и культурный режим «господина исключительного положения». Разумеется, можно представить фашизм и как титанизм, с которым борется аполлоническая культура, и как олимпийство, с которым борется свободолюбивый титанизм. Но то, как в своих книгах и статьях середины тридцатых, разоблачающих механицизм, технократизм и бездушность фашистских режимов и разлагающейся буржуазии периода ее упадка, воевал Бухарин – делает из него союзника скорее дионисийского титанизма, то есть, той эпистемы, которую разделяли Голосовкер и Бахтин. Но даже если реальный процесс конституирования фашизма как объекта критики в тридцатые годы значительно сложнее, сама его связь с темой антагонизма титанизма и олимпийства дает интересный взгляд на идеограмматику процессов, происходивших в тридцатые годы в СССР.

С другой стороны, необходимо упомянуть и те квазинаучные направления, которые неуклонно завоевывали позиции на протяжении всех тридцатых годов: марризм в лингвистике и особенно ламаркизм в биологии, выдвинувший в конечном итоге такую знаковую для сталинской культуры фигуру, как Т.Д. Лысенко. Безусловно, тема покорения природы, в ее тимиразевско-мичуринском ключе, определима прежде всего как олимпизм, как господство аполлонического над дионисийским. Телеологический контроль за видопорождением, формирование лика земли в один цветущий сад и т.п. – все это придание космической размерности эстетически оформленного целого хаосу сил природы. Но в лысенковской интерпретации покорение природы с пафосом доверия к силам природы и ее естественному разуму, к экстатическим силам, скрытым в растениях и животных, приобретает черты, противоположные исходному умонастроению, и карнавално-дионисийская стихия в идеологии Лысенко явно преобладает (не говоря уж о практике). Подобным образом и марризм, с его яфетическим языкознанием, противостоит аполлонизму научных грамматик.

Необходимо отметить, что и такие важные элементы культа героизма в сталинской культуре, как стахановское движение и разнообразные далекие путешествия (перелеты, жизнь на льдине и т.п.) – прямо сравнивавшиеся в прессе с титанизмом – носят экстатическую природу; это прыжок через «возможное», как

тогда любили подчеркивать. Доктрина доверия человеческим силам, для которых нет невозможного – общее место пропаганды тех лет.

На этом фоне видно, как приблизительно общераспространенное представление о переходе к сталинизму от авангарда как о переходе от разгула центробежных сил к силам центростремительным. На деле процессы были не так однозначны, противостоящие эпистемы (сосуществующие на протяжении всей сталинской эпохи) устроены куда сложнее, и в них мы видим отзвук древнего спора о природной или конструктивной сущности закона и человеческого сообщества – не завершенный и сегодня русский спор о Номосе и путях его полагания.

The myth of Prometheus and debates about the nature of law in the Russian culture of the first half of the 20th century

The paper studies the problem of law in Russia in the first half of the 20th century in the context of discussions about titanisme. The most fundamental interpretation of the problem is given by symbolist Vyacheslav Ivanov in his tragedy “Prometheus”. In his theory, the concept of heroic actions and of the tragic human law is presented as a result of problematic relations between Gods and Titans which ends in the mystery of a tragic drama, creating human solidarity. Vyacheslav Ivanov synthesizes in his conception the interpretations of the ocean and of the diurnal and nocturnal sides of human life given by Schiller and Tyutchev. Ivanov’s conception in the Soviet culture was developed in the discussion between Losev and Golosovker about the Titans. In this discussion the conception of Ivanov is split into two irreconcilable parts. If Losev defends the thesis about the overcoming titanism by divine isonomy, Golosovker develops the conception of freedom of titanic life from Olympic isonomy. This debate makes sense, if we put it in the context of the struggle of Stalin’s conservative revolution with the avant-garde movement of the 1920s. Each of these projects has its own conception of the relationships between natural and positive law. In conclusion the author analyzes the problem of Ivanov’s influence on Leonov’s *Road to the Ocean*, and on his contemporaries M. Bulgakov, M. Bakhtin and T. Lysenko.

АРНО НИКО-КЛЕМАН
(Лозанна)

ЗАКОНЫ ЛИТЕРАТУРНОГО БЫТА В ОСВЕЩЕНИИ *СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ ПОВЕСТЕЙ* М. ЗОЩЕНКО

1. Предисловие

С середины двадцатых годов прошлого века интерес к литературному быту сильно возрастает. Об этом свидетельствует не только знаменитая статья Бориса Эйхенбаума *Литература и литературный быт*¹, но и целый ряд работ, посвященных данному вопросу². Даже не связанные с формалистами исследователи выпускают книги на те же темы³. Но проблемы, относящиеся к литературному быту, не подлежат исключительно теоретическому и историко-литературному изучению. Художественная литература в свою очередь захватывает эту тему, освещая изнутри сложную ситуацию писателя в конце НЭПа.

Михаил Зощенко в *Сентиментальных повестях* вскрывает голосом мнимого автора Коленкорова тогдашние творческие условия. Он идет еще дальше: литературный быт не только является предметом изображения, но становится непосредственным действующим лицом писательского процесса.

Недаром первая версия цикла *Сентиментальные повести* выходит в свет в том же 1927 году, когда печатается статья Эйхенбаума. Литературная ситуация тогда сильно изменилась по сравнению с первой половиной этого десятилетия. Литературный авторитет в основном находится в руках лефовцев и напостовцев, по-разному, но с равным упорством борющихся за чисто пролетарскую куль-

¹ Борис Эйхенбаум, *Литература и литературный быт*, "На литературном посту", 1927, №9, с.47-52.

² Марк Аронсон, Соломон Рейсер, *Литературные кружки и салоны*. Ленинград 1929; Теодор Гриц, Владимир Тренин, Михаил Никитин, *Словесность и коммерция. Книжная лавка А.Ф. Смирдина*. Москва 1929.

³ Николай Бродский (ред.), *Литературные салоны и кружки*. Москва / Ленинград 1930.

туру⁴. Полемика в эти годы обостряется небывалым образом, и писателям, не примкнувшим ни к одной стороне, становится все труднее работать. В этом резко поляризованном контексте *Сентиментальные повести* действительно звучат, по словам их же автора Коленкорова, «визгливой флейтой»⁵, несозвучной эпохе.

2. Авторефлексивность текста

Главная особенность этого произведения заключается в том, что обычный зощенковский рассказчик многочисленных предыдущих юмористических и сатирических текстов заменен автором, претендующим на звание профессионального писателя. Другими словами, Зощенко создает себе литературного двойника, голосом которого он сможет показать писателя в его мастерской, дать отчет о том, как он работает, как он выковывает художественный текст в данных обстоятельствах.

Именно эта фигура мнимого писателя объединяет повести цикла, а не тематические или жанровые соображения, как можно предположить из заглавия. Ведь Коленкоров не просто псевдоним. Во-первых, мы располагаем о нем биографическими сведениями; во-вторых, он очень часто вмешивается в процесс повествования, собственными заметками обнажая свою личность, мировоззрение, собственные взгляды на текущую литературу. Это позволяет Зощенко поставить сам литературный быт и отношения с ним писателя в центр произведения. И в самом деле, речь автора, постоянно прерывающая ход рассказа и тем самым затрудняющая чтение, занимает чуть ли не четверть всего напечатанного текста⁶. Поэтому можно говорить о Коленкорове как о настоящей *литературной маске*, равной Брамбеусу или Пруткову⁷.

Уже здесь обнаруживается двойная природа текста, амбивалентность, лежащая в его основе: Коленкоров литературного быта описывать не намеревается. Это дело Зощенко, предпринимającego инсценировку и рассматривающего ситуацию на некотором расстоянии. Наоборот, Коленкоров является лишь жертвой законов, управляющих литературным бытом. Эти законы играют определяющую роль в самом создании текста, формальные и тематические модальности которого часто определяются их постоянным действием. Давление законов литературного быта действительно мешает автору соблюдать классические нормы и правила письма, вынося на первый план, помимо вопросов об общественном статусе писателя, проблемы художественной технологии и авторских замыслов.

⁴ Michel Aucouturier, *La vie littéraire des années 20*, in E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada (dir.), *Histoire de la littérature russe. Le XX^e siècle. La Révolution et les années 20*. Paris 1988, p.213-233.

⁵ Михаил Зощенко, *Собрание сочинений в трех томах*. Ленинград 1986, т.2, с.7.

⁶ Даю примерные проценты для каждой повести: *Аполлон и Тамара*: 8,4%; *Люди*: 17,8%; *Страшная ночь*: 29%; *О чем пел соловей*: 37%; *Веселое приключение*: 18,7%; *Сирень цветет*: 25,4%.

⁷ Под этим термином я понимаю весь словесный механизм и набор литературных приемов, позволяющих писателю как будто отмежеваться от собственного произведения — в то же время, сохраняя полный контроль над ним.

Но каковы эти законы? Можно условно выделить три их категории: а) законы марксистской критики (классовая идеология, авторитарные постановления, особые эстетические требования и т.д.); б) законы профессии (гонорары, межличностные отношения, сроки сдачи текстов и т.д.); в) законы рынка (спрос и предложение, конкуренция, социальный заказ и т.д.).

3. Марксистская критика как фактор производства текста

В 1936 году Зощенко переиздает в Госиздате *Сентиментальные повести* с некоторыми изменениями⁸. Главное новшество заключается в прибавлении четырех предисловий, под которыми он ставит фальшивые даты (от марта 1927 года до апреля 1929 года) совершенно мнимых изданий и приписывает их разным лицам, в том числе и самому себе.

В первом предисловии Иван Васильевич Коленкоров, вымышленный автор, от лица которого ведется повествование, представляет свое произведение и между прочим предупреждает читателя, что оно слабо и несозвучно героической эпохе революции. Два следующих предисловия, написанных посторонними лицами, дают об авторе разные биографические и политические справки и уточняют отношения между Зощенко и мнимым Коленкоровым, будто бы занимавшимся некогда в литературной студии у самого Зощенко. И наконец, четвертое предисловие, подписанное самим Зощенко, прямым образом раскрывает мистификацию, от которой на самом деле писателя заставили отказаться.

Но что может служить причиной появления второго предисловия? А третьего и четвертого? В данном случае ответ на этот вопрос содержится в первой же фразе каждого из них: «Ввиду многочисленных запросов...», «В силу постоянных запросов...», «В силу прошлых недоразумений...»⁹.

Что-то явно происходит вне текста, чувствуется сильное настойчивое давление, под действием которого появляются новые предисловия. Их содержание также определено этим давлением. Упомянутые «настоятельные запросы», разумеется, сделаны критикой, которая, следуя принципу «срывания масок»¹⁰, систематически возобновляет свои нападки с целью окончательно выяснить отношения между Коленкоровым и Зощенко. Это сводится по сути к уничтожению изначального намерения писателя приписать авторство повестей другому перу. В таком безвыходном положении писатель – если он хочет, чтобы его произведение было опубликовано и прочитано, – не имеет другого выбора, но вынужден просто раскрыть свою хитрость, прекращая тем самым игру в кошки-мышки.

В отдельных повестях «предохранительная» дискуссия с критикой продолжается и дальше, наполняя пространство повествования и вторгаясь в художественную часть произведения. Как уже было сказано, рассуждения автора и спор с критикой занимают примерно четверть объема всего текста. Суще-

⁸ Краткую историю *Сентиментальных повестей* дает Игорь Сухих в своих комментариях к следующему изданию: Михаил Зощенко, *Сочинения. 1920-е годы*. Санкт-Петербург 2000, с.1038-1041.

⁹ Михаил Зощенко (2000), *op.cit.*, с.6-10.

¹⁰ Один из лозунгов рапповцев.

вание этого пласта, без которого текст остается вполне читабельным, оправдывается ничем иным, как давлением марксистской критики.

Итак, в самом начале книги возникает целый мир, в принципе чуждый художественному произведению. На этот раз он активно присутствует, чтобы стеснить автора и идеологически обезвредить попытавшуюся выйти из-под его контроля книжку. Эти предисловия дают косвенно, но совершенно ясным образом понять, что критика подозрительно и даже отрицательно восприняла два первых издания и что именно она потребовала выяснить действительное авторство, желая тем самым нейтрализовать мистифицирующий механизм и осветить некоторые идеологические позиции. Только тогда, когда писатель (Зощенко) признался в собственном притворстве и в намерении обмануть читателя, когда его наконец заставили раскаться, чтение может состояться.

4. Законы профессии

Чтобы составить себе представление о положении писателя в те годы, обратимся к уже упоминавшейся статье Эйхенбаума, в которой он констатирует следующее:

«Можно сказать решительно, что кризис сейчас переживает не литература сама по себе, а ее социальное бытование. Изменилось профессиональное положение писателя, изменилось соотношение писателя и читателя, изменились привычные условия и формы литературной работы – произошел решительный сдвиг в области самого литературного быта, обнаживший целый ряд фактов зависимости литературы и самой ее эволюции от вне ее складывающихся условий. Произведенная революцией социальная перегруппировка и переход на новый экономический строй лишили писателя целого ряда опорных для его профессии (по крайней мере в прошлом) моментов (устойчивый и высокого уровня читательский слой, разнообразные журнальные и издательские организации и пр.) и вместе с тем заставили его стать профессионалом в большей степени, чем это было необходимо прежде. Положение писателя приблизилось к положению ремесленника, работающего на заказ или служащего по найму, а между тем самое понятие литературного “заказа” оставалось неопределенным или противоречило представлениям писателя о своих литературных обязанностях и правах. Явился особый тип писателя – профессионально действующего дилетанта, который, не задумываясь над существом вопроса и над самой своей писательской судьбой, отвечает на заказ “халтурой”»¹¹.

На первый взгляд, может показаться, что Коленкоров принадлежит именно к тому новому типу писателей, о котором говорит Эйхенбаум. Действительно, его способ вести повествование далек от совершенства. Его неуместные беспрестанные вмешательства часто прерывают развертывание сюжета; он несколько раз не выполняет своих собственных обещаний и решений; его неаккуратность достигает высшей точки в повести *О чем пел соловей*, в конце которой он вдруг обнаруживает, что забыл рассказать эпизод, где говорится о со-

¹¹ Борис Эйхенбаум (1927), *op.cit.*, с.430.

ловье и решает его дать в дополнительной главе. Короче, путанность текста постоянно мешает чтению и создается впечатление, что мы имеем дело с черновыми набросками произведения, а никак не с окончательной, тщательно отредактированной его версией. Создается ощущение, что автор – литературный дилетант, спешащий довести свой рассказ до конца, чтобы скорее получить гонорар. Тем более, что иногда он проговаривается о своих корыстных целях:

«Пишешь, пишешь, а для чего пишешь – неизвестно.

Читатель небось усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну, дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий корыстный расчет откинуть, то автор и совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чертовой бабушке»¹².

Отношение Коленкорова к деньгам кажется парадоксальным. С одной стороны, он их презирует, а с другой – признается, что они составляют для него главное побуждение к писательству. Недаром одна из центральных тем цикла – корыстолюбие. Денежные соображения занимают большое место в речи автора, который порой даже обращается к читателям в «рыночных» терминах: «Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель!»¹³. Экономические связи автора с читателем, гонорары, материальные обстоятельства часто упомянуты Коленковым и несомненно играют определенную роль в его поэтике и особенно в композиции текстов:

«Так вот, в силу вышесказанных причин, а также вследствие некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести – пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики»¹⁴.

В этом случае выбор современного материала зависит от внелитературных, от бытовых обстоятельств. Нужда, в которой автор оказывается, частично определяет ориентацию текста. Основываясь на том, что современные темы модны, что автор, пишущий о них, непременно имеет огромный и единогласный успех, что «портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах» и что «издатели с ним расплачиваются в золоте, не менее как по сто рублей за лист»¹⁵, он решает воспользоваться выгодной ситуацией, тем более что есть «потребность в современной повести». Приступая к такого рода тексту, он, стало быть, выполняет заказ, одновременно обеспечивая себе средства к существованию.

¹² Михаил Зощенко (2000), *op.cit.*, с.89.

¹³ *Ibid.*, с.130.

¹⁴ *Ibid.*, с.59.

¹⁵ *Ibid.*, с.58.

Однако нельзя автора обвинять в намеренной небрежности или в легкомыслии. Наоборот, он всячески старается выполнить наилучшим образом свою писательскую задачу. Напомним, что писать стихи и рассказы было мечтой его жизни, ради исполнения которой он даже занимался в литературном кружке у самого Зощенко¹⁶. Это свидетельствует о серьезности, с которой он подходил к литературному труду. Автор вполне сознает всю ответственность своего ремесла и пытается быть достойным своего назначения. Он настоящий профессионал, что подчас возможно уловить в его многочисленных отступлениях:

«Автор, заранее забегая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности и в нежелании видеть положительных сторон.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи»¹⁷.

Гонорар обязывает, и автор провозглашает свою верность ценностям писательского звания, то и дело уверяя читателей и критиков в своей неопровержимой честности. Впрочем, установка автора на откровенность, на чистосердечность пронизывает весь текст. Но одна эта благородная поза удовлетворительного результата дать не может не столько из-за неумелости или некультурности автора, сколько из-за военного настроения литературного быта, в котором правому попутчику, родившемуся в мелкобуржуазной семье дамского портного¹⁸, затруднительно работать. Препятствия, установленные критикой, чтобы преградить дорогу политически подозрительным, а тем более «вредным» литераторам, для начинающего неопытного писателя почти непреодолимы. Так что высказывание насчет денежных выгод литературной деятельности следует приписать скорее отчаянию, чем корыстолюбию. Дело обстоит так: стоит ли посвящать столько усилий писательскому труду, стоит ли так волноваться о священной ответственности писателя, если все равно вас будут травить как последнюю скотину? Несколько раз Коленкоровым овладевает такое раздражение, что он разражается гневом:

«Автор только хочет рассказать об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии!..»¹⁹.

Здесь прямо говорится о невозможности работать при столь неблагоприятных условиях. И все искажения, а порой и уродливые стороны произ-

¹⁶ *Ibid.*, с.8.

¹⁷ *Ibid.*, с.92.

¹⁸ *Ibid.*, с.8.

¹⁹ *Ibid.*, с.108.

ведения, надо приписать тяжелому положению, в котором находятся литература и сами писатели. В данной ситуации Коленкоров принужден на каждом шагу оправдываться. Под давлением критики объем текста умножается за счет беспрестанных отступлений или объяснительных введений, не имеющих ничего общего с тем, что рассказано в отдельных повестях.

Теперь понятно, почему тексты даются в виде черновиков: многословие увеличивает количество страниц, повышая тем самым общую сумму гонораров. Но здесь все-таки возникает вопрос: почему количество страниц увеличивается за счет этой болтовни, тогда как автор мог бы всего лишь более подробно проработать отдельные эпизоды? Вопрос справедлив, тем более что автор действительно порой пропускает места, которые могли бы придать повести большую протяженность:

«Тамара плакала, ничком уткнувшись в подушки. В руке она держала его фотографию, его – Аполлона Перепенчука.

Пусть на этом месте читатель плачет, сколько ему угодно, – автору все равно, ему ни холодно, ни жарко. Автор бесстрастно переходит к дальнейшим событиям»²⁰.

Другой пример:

«Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева. [...] Вот бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А впрочем, и рассказать нечего»²¹.

На заданный выше вопрос отвечу, что здесь упущен из вида чуть ли не главный бытовой элемент эпохи: время, с которым каждый писатель, к какому бы лагерю он ни принадлежал, должен был считаться. Времени совсем мало, а деньги нужны:

«Ну и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть»²².

Время написания произведения, торопливость ощутимы на каждой странице. Это – ключевой элемент для понимания *Сентиментальных повестей*, значительную часть которых он и определяет. Сама структура текста *О чем пел соловей*, в котором последняя глава вводится как постскриптум, где автор должен вспомнить

²⁰ *Ibid.*, с.45.

²¹ *Ibid.*, с.92-93.

²² *Ibid.*, с.107-108.

упущенный эпизод с соловьем, подсказывает, что автор поступает так из-за отсутствия времени:

«Было бы, конечно, смешно начинать сначала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет восполнить кое-какие подробности»²³.

Вместо того, чтобы переделать работу, переработать свой текст, автор оставляет его в прежнем состоянии, что оправдывается только недостатком времени. Другие моменты также могут быть объяснены фактором времени: это и внезапное ускорение действия, и сокращение некоторых описаний или сцен, и т.д.

5. Законы рынка

Изысканное построение издательской истории *Сентиментальных повестей* с помощью поддельных предисловий позволяет Зоженко показать характерные противоречия тогдашнего литературного быта и незаметно обратиться к вызывавшей в те же годы ожесточенные споры проблеме «социального заказа». Если обратить внимание на даты каждого предисловия, то можно судить о большом успехе этого произведения, выдержавшего четыре издания за два года. Это означает, что спрос или заказ на такой товар у публики существует. И Коленкорову удалось его опознать и выполнить, наперекор наставлениям критики, требующей, по мнению того же Коленкорова, «настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса – одним словом, полной и высокой идеологии»²⁴.

На самом деле Коленкоров отождествляет два различных заказа: официальный, государственный, с одной стороны – и «народный», с другой. Эти заказы не обязательно совпадают, и Коленкоров – выскочка из мелкобуржуазной семьи, «не [способный] подавить в себе мещанских корыстных интересов к деньгам, к цветам и к мягким креслам»²⁵, – клонится к выполнению именно «народного» заказа, от которого ожидается больше прибыли. Ведь в самом деле: всякий профессиональный писатель, как бы ответственно и бескорыстно он ни подходил к своему делу, тем не менее справедливо ожидает от последнего зарплаты. И в тяжелых литературных обстоятельствах конца НЭПа попутчик Коленкоров часто принужден идти на уступки своему идеальному представлению о собственной профессии. Он тщательно следит за тем, что происходит в литературном мире, печется о вкусах и ожиданиях своих читателей, подчас считаясь с их уровнем образования, как в случае выбора героя повести *Аполлон и Тамара*²⁶. Он умеет вовремя менять направление, отбрасывая прежние пессимистические взгляды, которые больше не представляют интереса. Веселые и бодрые темы двух последних повестей цикла, *Веселое приключение* и *Сирень цветет*, нарочно выбраны, чтобы угодить вкусу публики, привлеченной легкой ино-

²³ *Ibid.*, с.123.

²⁴ *Ibid.*, с.6.

²⁵ *Ibid.*, с.89.

²⁶ *Ibid.*, с.30-32.

странной литературой. Даже погода в книге описывается как хорошая, дабы угодить «дорогому покупателю из книг»²⁷. Наперекор всему ранее сказанному, автор объявляется готовым «не то чтобы приврать», а «слегка подтушевать факты» – немудрено, что герой последней повести зарабатывает на жизнь ретушированием фотографий. Обстановка изменилась, надо сменить цвет.

5. Заключение

Итак, мы видим, что Коленкоров, имеющий высокое представление о своей профессии, всячески старается сохранить независимость от неуместных требований как читателя, так и критики. Однако и материальное положение, и общественное положение писателя в целом такого не позволяют, и Коленкоров вынужден пойти на уступки, считаясь с внешними запросами: выбор героя повести *Аполлон и Тамара* обусловлен соображениями об уровне образования читателя, а выбор современных тем – модой; любовные темы отвечают сентиментальным наклонностям публики и т.д. Наконец, установка на бодрость и веселость должны помочь писателю преодолеть конкуренцию иностранных авторов. Надо признать, что собственного художественного почину у Коленгорова остается немного.

Этим произведением Зощенко не только показывает литературный быт эпохи, но вместе с тем и разоблачает его принудительную логику. Благодаря многословию Коленгорова, мы видим, как законы, управляющие литбытом, могут воздействовать на общие ориентации художественного текста. Автор без них уже не может обойтись и находится в их власти ежесекундно, кое-как лавируя между подводными камнями. Естественно, литературный быт, как показал Эйхенбаум, всегда играл определенную роль в литературе, но в такой мере – кажется, еще никогда. Зощенко, видимо, чувствовал, что литература переживает роковой момент. По примеру Котомеева, героя *Страшной ночи*, он бьет в набат. Только звон этого набата, заглушенный общим стремлением перекричать других, прозвучит впустую.

Laws of “literaturnyi byt” in M. Zoshchenko’s *Sentimental tales*

Sentimental tales have the particularity to integrate in the text itself the reflections of their supposed author, I.V. Kolenkorov. They reveal the conditions, in which the writer works, showing what the *literaturnyi byt* looked like in the second half of the 1920s and which laws were ruling it: laws of Marxist critics, laws of the writer’s profession, laws of the market. It is possible to observe the determining role that these laws play in the text’s elaboration, formal and thematical modalities of which are often provoked by their assaults. It prevents the author from respecting classical norms and rules of writing, thus blurring the understanding of the text. For Zoshchenko the matter was to sound the alarm, like the hero of *A terrible night*, to call attention to the questions of the freedom of expression and creation.

²⁷ *Ibid.*, c.125.

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР
(Лозанна – Париж)

ИЗНОС И УСТАЛОСТЬ ПОНЯТИЙ (ТЕЗИСЫ)

1. Несколько замечаний по поводу оппозиции *закон vs закономерность*

1.1. Русское слово *закономерность* является калькой немецкого *Gesetzmässigkeit*, усвоенного русским языком во второй половине девятнадцатого века, наряду с его синонимом *законосообразность*.

1.2.1. Первичный смысл немецкого слова, соответствие закону, дополняется на русском языке мыслью о некоей (а) логически обоснованной и/или (б) размеренно, регулярно выстраивающейся цепочке событий; см. определение закономерности в словаре середины двадцатого века: «Логически обоснованная последовательность, регулярность чего-л.» (Д.Н. Ушаков).

1.3. Отметим, что не следует смешивать свойств (а) и (б). Если первое выведено на основе логического анализа, то второе отсылает в первую очередь к наблюдению.

1.3.1. **Регулярность** наблюдаемого заставляет думать о **правиле** или о правилах, которым она подчиняется. Констатация свойства (а) является итогом работы по (типологическому) упорядочиванию некоего множества фактов/событий. В области же свойств (б), при наблюдениях «естественного», обнаружение регулярности указывает на наличие **закона**.

1.3.1.1. Иначе говоря, понятие *регулярности* указывает то на способ ее описания, то на скрытое существование закона, обеспечивающего ее естественное проявление.

1.3.2. В обоих случаях **закономерность** (регулярность) противопоставляется закону своей *симптоматической* природой, она служит указанием, индексом **закона**.

1.3.3. Итак, **закон**, обеспечивающий закономерность (регулярность) фактов и цепочек явлений, может оставаться скрытым, неизвестным, тогда как распознавание регулярности дает основание говорить о **закономерности** и открывает поле толкованиям, объяснениям, индуктивным операциям.

2. Применение полученной зависимости *закон-закономерность* к области семиотики/семиологии

2.1. Несколько преувеличивая, можно покуситься на проведение параллели между соотношением **закон//закономерность** и соотношением в понимаемом по-сосюрски *знаке*: **закон-означающее//закономерность-означающее**; различные и/или расходящиеся прочтения закона (легальные, «юридические» толкования) соответствовали бы коннотациям, в частности, поэтическим *коннотациям*, расширяющим значение знака и приписываемым последнему в противоположность его *денотации*.

2.2. Сходным путем устанавливается аналогия между соотношением **закон-закономерность** и третичной структурой слова в теории А.А. Потебни.

2.2.1. В этом случае мы получаем следующие соответствия: **закон-внутренняя форма/закономерность-внешняя форма/толкование-идея, значение**.

3. Перенос полученных соотношений на концепт «научного понятия»

3.1. Проведенная выше параллель делает правомерной сходную игру аналогиями при рассмотрении концепта «научного **понятия**», которое приравнивается к *знаку* и/или *слову*.

3.1.1. Соответственно, «научное **понятие**» обладало бы своей *внутренней формой, внешней формой* и *значением/идеей*.

3.1.2. Проблематичной и тем самым интересной делает такую аналогию раскрытая Потебней (неизбежная) эволюция слова в сторону забывания, изнашивания, вытеснения внутренней формы. Указанная аналогия ведет к мысли о том, что в жизни «научных понятий» имеет место процесс сходный с *автоматизацией слова* (согласно терминологии русских формалистов): слово автоматизируется от употребления, что равнозначно стиранию в слове «образа **закона**» (*внутренней формы*).

3.1.3. Как Потебня, так и следующие за ним в этом отношении формалисты более или менее эксплицитно приравнивают автоматизацию слова к **усталости** словесного материала, износу слов, пребывающих в обращении, наподобие механических деталей, срабатывающих в результате долгой работы внутри машины (ср. схему, Фигура 1).

3.1.3.1. Как кажется, такому пониманию сопутствует гумбольдтовское понимание слова как энергии; во второй половине девятнадцатого – начале двадцатого века, в эпоху развития и культурного престижа термодинамики, автоматизация слова, по-видимому, внутренне уподобляется процессу энтропии, что усиливает, экспонирует ее общеобязательный характер **закона**.

3.2. Говоря схематически, то есть, воспроизводя моделирование эволюции слова согласно Потебне, такая **усталость слов** (их износ и сопутствующее ему исчезновение *внутренней формы* как глубинной слагаемой знака) оставляет непосредственно соприкасающимися две стороны слова, *внешнюю форму* – выражение **закономерности**, – и *идею*, то есть, общепринятое **толкование** его значения.

3.3. Мы применяем сказанное к концептам «научного **понятия**» и распространяем это применение в масштабе общих высказываний, «**теорий**». В итоге мы можем говорить об **износе и усталости понятий и теорий**.

4. Механизмы «воскрешения слова»

4.1. Как косвенно уже отмечено, потебнианская *внутренняя форма* обеспечивает связь или мотивацию между *значением* и *внешней формой*; ее стирание лишает слово-знак мотивировки, переводит в разряд катахрезы, делает *произвольным* соединение двух сторон единства *внешняя форма – значение*, превращая в *бинарный знак*, описанный Соссюром.

4.2. В концепции Потебни эмоциональная и эстетическая нагрузка слова зависит от внутренней формы; понятно, что в сравнении с трехчастным потебнианским словом соссюровский знак (обиходное слово) предстает анти-поэтическим, поэзия же становится машиной для производства коннотаций. При сохранении потебнианско-формалистской терминологической и семантической перспективы поэзия являет собой машину для «воскрешения слова», для оживления его посредством операции по уменьшению износа и усталости.

4.3. Иллюстрацию такой ре-поэтизации слова в большом упрощении можно (по крайней мере, на схематическом рисунке) дать на двух противопоставленных примерах.

4.3.1. Символистская поэзия обращает особенное внимание на *внутреннюю форму (означаемое)* слова, придает ей главную ценность, обновляя слово посредством коннотирования, вычитывая, извлекая из него новые значения в новых идейных контекстах, тогда как

4.3.2. футуристская поэзия сосредоточивает свое внимание на обновлении слова путем преобразования *внешней формы (означающего)*, процесса, порождающего новые значения.

4.3.2.1. Оговорка: очевидно, что при реализации этих противопоставленных принципов изначально смешивались оба подхода; символисты интересовались внешней формой, а футуристы – внутренней; характерной для последних была трактовка «внутренней» компоненты слова как пригодного к обработке материала, а для первых — как идейного или духовного содержания, ожидающего раскрытия.

4.3.2. Обе описанные процедуры ведут к гораздо большей автономизации слова по сравнению с его обычными формой и употреблением (см. схему, Фигура 2).

4.4. Мотивировку значение/форма и, следовательно, поэтическую нагрузку слова можно рассматривать как свойство *коннективности* (способности к соединениям), которую получает то *внутренняя форма*, оживленная процедурами символизации, то *внешняя форма*, подвергнутая, как в поэзии футуристического типа, морфологическим, параномастическим, синтаксическим и т. п. манипуляциям. Подобную функцию (*коннективность*) можно считать ключевой и для (научного) **понятия**.

4.4.1. Потенциал *коннективности* реализуется через умножение и диверсификацию употребления слова (понятия, теории), а также через приложение его

к разным новым контекстам. Примеры: слово *хаос* в поэзии А. Белого или понятие *синтеза* у Е. Замятина. Известные прежде эти слова меняют значение, переосмысливаются в поэтическом или широко литературном контексте. Хлебниковское самоопределение «будетлянин» может послужить примером неологизма, ставшего активным и начавшим порождать свой собственный поэтический и понятийный контекст.

4.4.2. Большая или меньшая степень коннективности определяет увеличение или уменьшение действенности/плодотворности понятия, а сокращение и/или потеря *коннективности* указывают на **усталость** понятия или теории.

4.5. Усталость, потерю *коннективности* можно сблизить с процессом **стереотипизации**, превращением понятия/теории в клише.

4.5.1. Стереотипизация может быть вызвана давлением внешних причин (официальный запрет на некоторые слова или имена ведет к повторению и/или превращению в клише других, и т.д.).

4.5.1.1. Пример: термин *диалектика*, еще живой в прозе А. Платонова начала тридцатых годов прошлого века, становится одним из обязательных клише дискурса социалистического реализма.

5. Применение проведенного вывода к области эпистемологии

5.1. Философы – такие, как Томас Кун, Пауль Фейерабенд или Мишель Фуко (и уже такие писатели, как Замятин) – воспринимают развитие науки не как постепенное, кумулятивное, мирное накопление знаний, а как процесс, идущий рывками, в котором очередные *смены парадигмы* заставляют вытеснять, забывать или совершенно переосмысливать многое из собранного раньше тезауруса знаний, отказываться от прежних аксиом.

5.1.1. Такие рывки происходят (а) после того, как преобладающая внутри парадигмы и определяющая ее теория не проходит очередных испытаний на прочность; (б) когда происходит открытие капитального значения; (в) вследствие появления новой революционной обобщающей теории. В случае (а) раскрывается несвязность или неадекватность актуальных теорий; в случае (б) эти теории оказываются неспособными включить в себя новые данные; в случае (в) новая теория разъясняет факты, непонятные или оставленные без внимания в рамках актуальных концепций, которые тем самым отменяются или отходят на задний план.

5.1.2. *Износ и усталость понятий/теорий* могут происходить в любом из указанных случаев. Особая ситуация может случиться, если теория меняется, несмотря на то, что новые важные факты не обнаруживаются и что способность толкования существующих теорий еще не исчерпана.

5.2. Именно такую ситуацию можно наблюдать в сегодняшнем литературоведении (следует, однако, заметить, что «научность» этой области оспаривается некоторыми комментаторами). Подходы меняются, но нет обобщающих теорий, сопоставимых, например, с формализмом или структурализмом; точнее, некоторые новые теории, такие как попытки перенесения в область литературоведения нововведений в гуманитарных науках – социобиологическая, когнитивная

и т.д., не получили всеобщего признания и ведут (может быть, *пока* еще ведут) маргинальное существование.

5.2.1. Теория реалистического социализма предоставляет образец *усталой* концепции; она служила естественным дополнением концепции «тоталитаризма» в истории и вместе с ней потеряла эффективность, хотя документы, ставшие публичными в результате открытия архивов, скорее ее поддерживают, чем ставят под вопрос: если судить по ним, партийно-государственное вмешательство в дела культуры осуществлялось в еще большем масштабе, чем это предполагала указанная теория. С другой стороны, если за последние двадцать лет в изучении советской литературы обновились подходы и методы, никаких новых теорий при этом не появилось.

5.2.2. Другой пример: теория русских формалистов. Она ушла в прошлое в результате государственного давления, с одной стороны, и внутренних противоречий, с другой. Тем не менее, она не исчерпала еще всех своих экспликативных возможностей, особенно перед лицом литературных и художественных фактов постмодернистской эпохи. Таковы, например, «укутанные» Христо и Жанной-Клод монументальные архитектурные объекты – парижский Новый мост (1985) или берлинский Рейхстаг (1995). Они буквально иллюстрируют тезис Виктора Шкловского об искусстве, которое делает «ощутимым» делание вещи, в противоположность вещам «сделанным», застывшим для восприятия и воспринимаемым автоматически как нечто обычное. Другой пример: инсталляция Дугласа Гордона *Психоз 24 часа* (1993) — просмотр фильма А. Хичкока, замедленного настолько, что его проекция длится полные сутки, — воплощает постулат Шкловского, направленный против принципа экономии энергии в области искусства и объявляющий главным законом художественного творчества «затруднение формы».

5.2.2.1. С некоторых пор интерес к русскому формализму обновился. Большое количество работ как на Западе, так и в России дает прочтение теории, позволяющее применять ее в разных исторических контекстах и, между прочим, к явлениям сегодняшнего дня. Стоит, однако, заметить, что это воскресение происходит благодаря интенсивной работе исследователей.

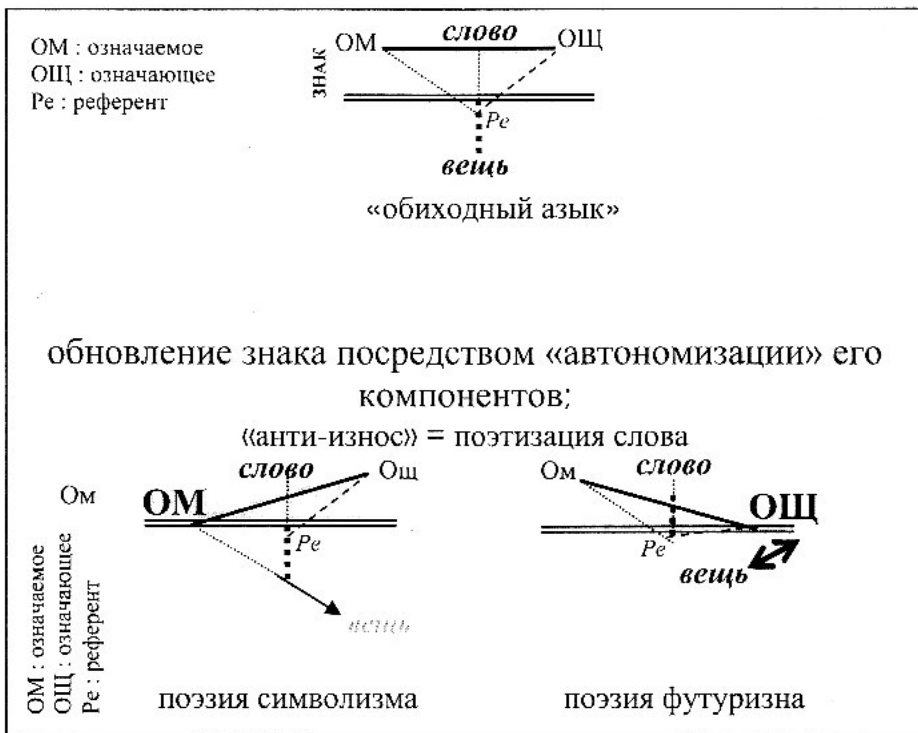
6. Заключение

Концепция *износа и усталости понятий/теорий* находит себе поддержку в фактах. Ее плодотворность и коннективность (способность поддерживать другие концепции) еще подлежат проверке. Сам же износ понятий может оказаться процессом обратимым; труд по обращению (энтропической) тенденции к износу и по оживлению «усталых теорий» не менее требователен и не менее благодарен, чем поэтизация слова.

Фигура 1



Фигура 2



Wear and fatigue of concepts (theses)

In Russian the terminological dyad *zakon/zakonomernost'* (reproducing the German *Gesetz/Gesetzmässigkeit* and having direct correspondence neither in French nor in English) seems to build an intern relation similar to that of the sign as defined by Saussure. We propose in this paper to expand this analogy to the Potebnian word structure; further, we compare the wear of the inner form of a word with the fatigue of scientific terms and theories, provide examples and plead for the renewing of some old concepts and theories much in the way the poetry is renewing used words.

НАШИ АВТОРЫ

- 1) **Roger Comtet**, Université Toulouse Jean Jaurès – 5, Allées Antonio Machado, 31100, Toulouse, France
- 2) **Alexander Schwarz**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 3) **Valéry Kossov**, Université Stendhal - Grenoble 3 – 1180 Avenue Centrale, 38400, Saint-Martin-d'Hères, France
- 4) **Ekaterina Velmezova**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 5) **Andrei Dobritsyn**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 6) **Anastassia de La Fortelle**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 7) **Anne Coldefy-Faucard**, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) – 1, rue Victor Cousin, 75005, Paris, France
- 8) **Eduard Nadtochiy**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 9) **Arnaud Nicod-Clément**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse
- 10) **Leonid Heller**, Université de Lausanne – Bâtiment Anthropole, CH-1015, Lausanne-Dorigny, Suisse

Section de langues slaves de l'Université de Lausanne
Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach
Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
при сотрудничестве
с кафедрой теории литературы и художественной культуры
Донецкого национального университета

«МИРГОРОД»

Господи Боже! Какая бездна тонкости бывает у человека!
(Николай Гоголь, *Миргород*)

Это всё дрянь, чем набивают головы ваши;
и академия, и все те книжки, буквари, и философия, всё это *ка зна що!*..
(тот же Н. Гоголь, и тот же *Миргород*)

*Международный филологический журнал, посвященный истории и эпистемологии
современного литературоведения, а также возможным ответам на вопрос о том,
как сделана и делается сегодня наука о литературе*

Основной профиль журнала:

- эпистемология современного литературоведения, обсуждение и анализ литературоведческих концепций как в контексте других гуманитарных наук, так и на фоне обиходных представлений о литературе, литературоведении, науке и гуманитарности;
- пути развития теории литературы в прошлом, настоящем и будущем;
- поиски совместного языка и вопросы терминологии современного литературоведения.

МИРГОРОД предполагает также публиковать тематические рубрики материалов, диалоги с известными литературоведами, литературоведческие дискуссии и информации о книгах.

Технические требования к публикации
(тексты высылать по адресу: mirgorod.inibi@gmail.com)

Текст

- 12 кеглем Times New Roman
- интервал 1,5
- цитаты более 3 строк выделяем отдельным абзацем, 11 кеглем, интервал 1,0
- поля - 2,5

Ссылки

- автоматические внизу каждой страницы
- 10 кеглем
- интервал 1,0

К статье прилагаем:

- **резюме на английском языке** (3-5 предложений);
- **ключевые слова**;
- **англоязычный вариант заглавия статьи.**

Сноски

А) При цитировании книг и монографий в сносках указываем:

1) имя и фамилию автора (ов), после двоеточия – название публикации полностью курсивом, место и год издания, а после запятой – страницу для цитаты или же страницы для статьи;

2) если работа является частью сборника или монографии, то после запятой пишем «в:» (для латиноязычных изданий «in:», «w:» или «v:» в соответствии с языком книги) и курсивом указываем название книги, имя и фамилию редактора (ов);

3) если работа указана в предыдущем примечании, пишем данные автора и «ibidem».

Примеры:

- 1) Игорь Смирнов: *Кризис современности*. Москва 2010.
- 2) Нина Брагинская: *Славянское возрождение античности*, в: *Русская теория 1920-1930-е годы*. Москва 2004, с.49-80.
- 3) Maria Kłańska: *Odyseusz*, w: *Mit – człowiek – literatura*. Praca zbiorowa. Wstęp Stanisław Stabryła, Warszawa 1992, s.245-276.

Б) При цитировании статей из научной периодики (ежегодников, журналов) в сносках указываем:

- 1) имя, фамилию автора, название публикации полностью (курсивом),
- 2) название периодического издания в кавычках (обычным шрифтом), год, том, номера страниц.

Примеры:

1) Илья Серман: *Пути и судьбы Григория Гуковского*, "Новое литературное обозрение" 2002, № 3 (55), с.54-65.

2) Kathrin Rosenfield: *Hölderlins Antigone und Sophokles' tragisches Paradoxon*, „Poetica“. Band 33 (2001), Heft 3-4, S.465-502.

* * *

Тематическая рубрика в очередном (пятом) номере **МИРГОРОДА** будет посвящена *драматургическим механизмам современной культуры* в ее основных парадигмах:

- а) «язык театра» и «театр языка»,
- б) новая драма как феномен,
- в) драма и переходная эпоха,
- г) трагедия как один из первоисточников европейской культуры

Материалы и статьи ожидаем от авторов до **15 октября 2014 года по адресу:**
mirgorod.inibi@gmail.com